

Норвежский лес

Автор:

Харуки Мураками

Норвежский лес

Харуки Мураками

Культовая классика

...по вечерам я продавал пластинки. А в промежутках рассеянно наблюдал за публикой, проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с битническими бородками, хостессы из баров и другие непонятные люди. Стоило поставить рок, как у магазина собрались хиппи и бездельники – некоторые пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то просто сидел на асфальте. Я вообще перестал понимать, что к чему. «Что же это такое? – думал я. – Что все они хотят сказать?»...

Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками «Норвежский лес», принесший автору поистине всемирную известность.

Харуки Мураками

Норвежский лес

Haruki Murakami

NORUWEI NO MORI

© А. Замилов, перевод на русский язык, 2017

Глава 1

Мне тридцать семь, и я сижу в кресле «Боинга-747». Гигантский лайнер снижается, пронизывая толщу облаков, и заходит на посадку в аэропорт Гамбурга. Холодный ноябрьский дождь выкрасил землю темным, и техники в дождевиках, флаг на крыше приплюснутого терминала, рекламный щит «БМВ» кажутся унылой фламандской картиной. «Ну что, опять Германия?» – подумал я.

Едва самолет приземлился, погасло табло «Не курить», из динамиков тихо полилась инструментальная музыка. Оркестр исполнял «Norwegian Wood» «Битлз». И эта мелодия, как всегда, разбередила меня. Даже не так: она разбередила меня намного сильнее, чем обычно.

Чтобы голова не раскололась на части, я нагнулся, прикрыл лицо ладонями и замер. Вскоре подошла немецкая стюардесса, спросила по-английски:

– Вам плохо?

– Нет-нет, просто голова немного закружилась, – ответил я.

– Вы уверены?

– Спасибо, все хорошо...

Стюардесса приветливо улыбнулась и ушла. Следующей зазвучала мелодия Билли Джоэла.

Разглядывая плывшие над Северным морем мрачные тучи, я думал о потерях в своей жизни: упущенном времени, умерших или ушедших людях, канувших мыслях.

Пока самолет не остановился, пассажиры не отстегнули ремни и не начали доставать с багажных полок свои вещи, я мысленно перенесся на ту поляну. Вдыхал запах травы, кожей чувствовал дыхание ветерка, слышал пение птиц. Было это осенью 1969 года, накануне моего двадцатилетия.

Подошла та же стюардесса, присела рядом, опять поинтересовалась, как я себя чувствую.

– It's all right now, thank you. I only felt lonely, you know[1 - Все в порядке, спасибо. Просто мне стало чуточку одиноко (англ.). – Здесь и далее прим. перев.], – сказал я и улыбнулся.

– Well, I feel same way, same thing, once in a while. I know what you mean[2 - Со мной тоже иногда такое бывает. Я вас понимаю (англ.).], – кивнула она, встала и тоже приятно улыбнулась. – I hope you'll have a nice trip. Auf Wiedersehen![3 - Счастливого пути! До свидания! (англ., нем.)]

– Auf Wiedersehen! – попрощался я.

Даже сейчас, спустя восемнадцать лет, я могу до мельчайших подробностей вспомнить ту поляну. Переливался яркой зеленью лесной покров, с которого за несколько дней подряд дождь смыл всю летнюю пыль. Октябрьский ветер покачивал колосья мисканта. На голубом небосводе словно застыли продолговатые облака. Высокое небо. Настолько высокое, что глазам больно смотреть на него. Ветер проносился над поляной и, слегка ероша волосы Наоко, терялся в роще. Шелестели кроны деревьев, вдалеке слышался лай собаки – тихий, едва различимый, словно из-за ворот в иной мир. Кроме него – ни звука. И ни единого встречного путника. Лишь две кем-то потревоженные красные птицы упорхнули к роще. По пути Наоко рассказывала мне о колодце.

Какая странная штука – наша память... Пока я был там, почти не обращал внимания на пейзаж вокруг. Ничем не примечательный – я даже представить себе не мог, что спустя восемнадцать лет буду помнить его так отчетливо. Признаться, тогда мне было не до пейзажа. Я думал о себе, о шагавшей рядом красивой девушке, о нас с ней и опять о себе. В таком возрасте все, что видишь, чувствуешь и мыслишь, в конечном итоге, подобно бумерангу, возвращается к

тебе же. Вдобавок ко всему, я был влюблен. И любовь эта привела меня в очень непростое место. Поэтому я не мог позволить себе отвлекаться на какой-то пейзаж.

Однако сейчас в моей памяти первым всплывает именно это: запах травы, прохладный ветер, линия холмов, лай собаки. И вспоминается прежде всего остального – отчетливее некуда. Настолько, что кажется: протяни руку – и до всего можно дотронуться. Однако в пейзаже этом не видно людей. Никого нет: ни Наоко, ни меня. Куда мы могли исчезнуть?.. И почему такое происходит? Все, что мне тогда представлялось важным: и она, и я, и мой мир – все куда-то подевалось. Да, сейчас я уже не могу сразу вспомнить лицо Наоко. У меня остался лишь бездушный пейзаж.

Конечно, спустя время я припоминаю ее черты. Маленькая холодная рука, прямые и гладкие волосы, мягкая округлая мочка уха и под ней – точка родинки, дорогой верблюжий свитер, который она надевала с приходом зимы, привычка задавать вопросы, всматриваясь в лицо собеседника, голос, который временами почему-то кажется дрожащим... Будто она разговаривает на вершине продуваемого всеми ветрами холма. Все эти черточки наслаиваются друг на друга – и вдруг, само по себе, вспоминается ее лицо. Причем, не как-нибудь, а в профиль. Может, потому, что я всегда ходил сбоку? Повернувшись ко мне, она весело улыбается, слегка наклоняет голову и начинает говорить, вглядываясь в мои глаза. Будто бы ищет скользящую по дну прозрачного источника рыбешку.

Но чтобы вот так представить в памяти лицо Наоко, требуется время. И чем дальше – тем больше времени. Грустно, однако это правда. Сначала хватало пяти секунд, потом они превратились в десять, тридцать, в минуту... Время вытягивалось, словно тень на закате. И вскоре все безвозвратно окутает мрак. Да, моя память необратимо отдаляется от места, где была Наоко. Так же, как и от места, где находился я сам. И только пейзаж – эта октябрьская поляна, словно символическая сцена фильма, повторяясь снова и снова, – всплывает в моей памяти. Картинка продолжает настойчиво пинать в одну и ту же точку моей головы. Эй, очнись, я еще здесь, вставай, вставай и ищи, ищи причину, почему я до сих пор еще здесь. Боли нет. Боли совершенно нет. И только при каждом пинке голова гулко гудит. Но и этот гул рано или поздно исчезнет, как исчезло, в конце концов, все остальное. Однако в аэропорту Гамбурга, в салоне самолета «Люфтганзы» пинки оказались дольше и сильнее обычного. Очнись, ищи...

Поэтому я пишу. Просто я отношусь к такому типу людей, которые ничего не могут понять, пока не попробуют записать это на бумаге.

О чем она тогда говорила?

Вот... она рассказывала мне о полевом колодце. Существовал ли такой колодец на самом деле, я не знаю. Может, он – лишь плод ее фантазии. Часть того, что роилось в ее голове в те мрачные дни. Но она рассказала мне о том колодце, и я уже не мог вспоминать поляну без него. Я никогда его не видел, но он остался в моей памяти прочно вписанным в тот пейзаж. Смешно: я помню его до последней детали, прямо на границе поляны и рощи. Трава искусно прикрывает темную дыру в земле, метр диаметром. Ограждения нет. Просто разинула свою пасть дыра. Кое-где потрескались и начали откалываться потемневшие от ветра и дождей камни. В щель между ними ныряет проворная зеленая ящерка. Загляни внутрь – все равно ничего не увидишь. Мне известно только одно: это жутко глубокий колодец. Настолько, что даже трудно представить. И вся дыра эта наполнена мраком – густым, впитавшим в себя все виды мраков этого мира.

– Он и вправду очень-очень глубокий, – сказала Наоко, аккуратно подбирая слова.

Я иногда замечал за ней такую манеру: Наоко говорила очень медленно, подыскивая нужные слова.

– Очень глубокий, но никто не знает, где он находится. Ясно только одно – где-то поблизости.

Она сунула руки в карманы твидового жакета и взглянула на меня. Улыбнулась: мол, я серьезно.

– Ну и жуть. Где-то есть колодец, но никто не знает, где. Свалишься в него – и с концами?

– Точно. А-а-а-а – бум! И конец...

– Но на самом деле этого не происходит?

– Иногда происходит. Раз в два-три года. Вдруг пропадает человек. Сколько бы его ни искали, найти не могут. Тогда местные жители говорят: «Он провалился в полевой колодец».

– Да, не лучший способ умереть.

– Просто ужас! – воскликнула она и стряхнула с жакета семена травы. – Свернуть себе шею и сразу умереть – еще куда ни шло. А если только ногу сломаешь, уже ничего не поделать. Хоть во все горло кричи, все равно никто не услышит. Никакой надежды, что тебя кто-нибудь найдет. И вокруг – сплошь сороконожки и пауки. Рядом побелевшие кости покойников, темно и сыро. А наверху, как зимний месяц, еле-еле мерцает краешек света. И вот в таком месте медленно и мучительно умирает человек.

– От одной мысли по коже мурашки, – сказал я. – Кто-нибудь должен найти этот колодец и сделать ограду.

– Никому не дано его найти. Поэтому нельзя сходить с верной тропы.

– А я и не схожу.

Наоко вынула из кармана левую руку и сжала мою.

– Не переживай. Тебе... Тебе тоже нечего бояться. Ты передвигаешься кромешной ночью на ощупь и ни за что не провалишься в колодец. И пока я буду рядом с тобой – я тоже.

– Ни за что?

– Ни за что!

– Откуда ты знаешь?

– Знаю. Просто знаю, и все. – Наоко крепко сжала мою руку. И дальше шла молча. – Мне хорошо понятны такие вещи. Но не их причина. Я просто чувствую. Например, сейчас я прижалась к тебе, и мне несколько не страшно. Зло и мрак даже не пытаются заманить меня к себе.

– На словах все получается просто. Может, пусть и дальше так?

– Ты... серьезно?

– Куда серьезнее?

Наоко остановилась. Я тоже. Она положила руки мне на плечи и пристально заглянула в мои глаза. В глубине ее зрачков черная как смоль вязкая жидкость выводила диковинные водовороты. Какое-то время этот красивый мрак заглядывал в меня. Затем она приподнялась на носки и прижалась ко мне щекой. На мгновение у меня от радости забилося сердце.

– Спасибо, – сказала Наоко.

– Да брось ты...

– Я очень рада, что ты так сказал. Правда! – И она печально улыбнулась. – Но это невозможно.

– Почему?

– Потому что нельзя. Так очень плохо. Так... – начала было она и замолчала. Я знал, что у нее в голове все кипит от мыслей, и молча шел рядом. – Потому что это неправильно. По отношению и к тебе, и ко мне.

– В каком смысле, «неправильно»? – тихо спросил я.

– Ну, не может ведь кто-то один вечно защищать другого. Послушай. Предположим, я выйду за тебя замуж. Ты будешь работать, так? Тогда кто будет защищать меня, пока ты на работе? Кто будет защищать меня, когда ты поедешь в командировку? Что же, я буду рядом с тобой до самой своей смерти? Разве не так? Это же нельзя назвать человеческими отношениями? Да и я тебе когда-нибудь надоем. «В чем смысл моей жизни? Быть талисманом этой женщины?» – скажешь ты. Я так не хочу. И мои проблемы от этого не разрешатся.

– Так не будет продолжаться всю жизнь, – сказал я, обняв ее за талию. – Когда-нибудь наступит конец. Тогда и подумаем, как быть дальше. Тогда, быть может, и ты спасешь меня. Ведь не значит, что мы живем, уткнувшись в ненавистный баланс доходов и расходов? И если я тебе сейчас нужен, используй меня. Ведь так? Почему ты так строго судишь о вещах? Послушай, расслабься, а? Ты напряжена, поэтому и относишься так ко всему окружающему. Расслабишься – станет легче.

– Почему ты так говоришь? – сухо спросила Наоко.

Услышав этот голос, я понял, что сказал лишнее.

– Почему? – снова спросила она, пристально всматриваясь в землю под ногами. – Я и сама знаю, что станет легче, если расслабиться. Что проку от этих твоих слов? Послушай, если я сейчас расслаблюсь, я развалюсь на части. Я до сих пор могла жить только так. И мне больше ничего не остается – продолжать жить так и дальше. Однажды расслабишься – назад не вернешься. А развалюсь – разлетается по кусочкам. Почему ты этого не понимаешь? Почему ты, не понимая этого, можешь говорить, что будешь обо мне заботиться?

Я молчал.

– Меня это берет намного глубже, чем ты думаешь. Мне холодно, темно... и тревожно. Слушай, почему же тогда ты спал со мной? Почему не бросил?

Мы шли по мертвенно тихому сосновому бору. На лесной тропинке сухо потрескивали под ногами ссохшиеся трупы сдохших в конце лета цикад. Мы с Наоко не спеша шли по этой тропе, глядя вниз, будто что-то искали на земле.

– Извини? – И Наоко нежно сжала мою руку. Несколько раз кивнула. – Я не хотела тебя обидеть. Не принимай мои слова близко к сердцу. Нет, правда, извини. Я просто злюсь на саму себя.

– Пожалуй, ты права – я действительно еще плохо знаю тебя. Я, конечно, не дурак, но чтобы понять некоторые вещи, требуется время. Было бы у меня это время, я смог бы в тебе разобраться. И понимал бы тебя лучше всех в этом мире.

Мы остановились, вслушиваясь в тишину. Я переворачивал носком ботинка дохлую цикаду и сосновую шишку, смотрел на небо между ветками сосен. Наоко сунула руки в карманы и, не глядя по сторонам, думала о своем.

– Послушай, Ватанабэ, я тебе нравлюсь?

– Конечно.

– Тогда выступишь две мои просьбы?

– Хоть три.

Наоко засмеялась и кивнула.

– Достаточно двух. Вполне... Первая. Я хочу, чтобы ты понял, как я тебе благодарна за наши встречи. Я очень рада. И они меня спасают. Даже если тебе так не кажется – это так.

– Я опять приеду. А вторая?

– Хочу, чтобы ты помнил обо мне. Чтобы ты всегда помнил, что я жила и была рядом с тобой.

– Естественно, я буду помнить о тебе, – ответил я.

Она молча двинулась дальше. По плечам ее жакета скользили полосы света, падавшего сквозь верхушки деревьев. Опять слышался собачий лай, но теперь он, казалось, звучал намного ближе. Наоко поднялась на пригорок и, выйдя на опушку соснового бора, сбегала по отлогому склону. Я отставал от нее на два-три шага.

– Постой, здесь может оказаться колодец! – крикнул я ей в спину. Наоко остановилась и, улыбнувшись, схватила меня за руку. Дальше мы шли вместе.

– Ты правда меня никогда не забудешь? – тихо, почти шепотом спросила она.

– Никогда, – ответил я. – Мне тебя незачем забывать.

И все же память продолжала неумолимо стираться. Я забыл уже очень многое. Но, извлекая то, что еще помню, я пишу. Иногда мне становится очень тревожно. Я вдруг спрашиваю себя: а не потерял ли я уже что-нибудь очень важное? Внутри у меня есть темное место, которое можно назвать задворками памяти. Вот я и думаю: не превратились ли там какие-то важные воспоминания в мягкую грязь?

В любом случае, больше у меня ничего нет. Храня в своем сердце эти несовершенные воспоминания, которые частично пропали совсем и улечиваются дальше с каждой минутой, я продолжаю писать так, будто обгладываю кость. У меня нет другого способа сдержать слово, данное той девушке.

Когда в молодости воспоминания о Наоко были еще свежи, писать я пробовал несколько раз. Но у меня не выходила даже первая строка. Я понимал: получись она тогда, и остальной текст, слово за словом, вылился бы на едином дыхании. Однако дальше первой строки дело не сдвинулось. Все еще было так отчетливо, что я не знал, с чего начать. Так очень подробная карта не годится из-за того, что чересчур подробна. Но сейчас я знаю. В конечном итоге, думаю я, в несовершенном вместилище, каким является «текст», ко двору придутся только несовершенные воспоминания и несовершенные мысли. Память о Наоко стиралась все больше, а ее саму я понимал глубже и глубже. Сейчас мне ясно, почему она попросила: «Не забывай меня!» Естественно, знала об этой причине и она сама. Знала, что память постепенно сотрется во мне. Поэтому Наоко ничего не оставалось – только потребовать у меня: «Никогда не забывай! Помни обо мне!»

И мне становится невыносимо грустно. Почему? Потому что она меня даже не любила.

Давным-давно, а если точнее – лет двадцать назад, я жил в студенческом общежитии. Было мне тогда восемнадцать, и я только поступил в институт. Токио я не знал вообще, и никогда не жил один, поэтому заботливые родители подыскили мне общежитие. Там нас кормили, имелось все необходимое. Это и повлияло на выбор жилья для неоперившегося восемнадцатилетнего юнца. Естественно, стоимость играла не последнюю роль: она оказалась на порядок ниже обычных расходов одиноких людей. Принеси свою постель и настольную лампу – и больше ничего покупать не нужно. Будь моя воля, снял бы квартиру и жил в свое удовольствие. Но если вспомнить, во сколько обошлось поступление в институт, прибавить сюда ежемесячную плату за обучение и повседневные расходы, выбора уже не оставалось. К тому же, по большому счету, мне самому было все равно, где жить.

Общага располагалась в Токио на холме с видом на центр города. Широкая территория окружена высоким бетонным забором. Сразу за ним по обеим сторонам возвышались ряды исполинских дзелькв – деревьям стукнуло, по меньшей мере, века полтора. Из-под них не было видно неба – его полностью скрывали зеленые кроны.

Бетонная дорожка петляла, огибая деревья, затем опять выпрямлялась и пересекала внутренний двор. По обеим сторонам параллельно тянулись два трехэтажных корпуса из железобетона. Эти большие многооконные здания казались переделанными под тюрьму жилыми домами или наоборот – тюрьмой, обустроенной под жилье. Хотя выглядели они очень аккуратно и мрачными не казались. Из открытых окон играло радио. Занавески во всех комнатах – одинаково кремового цвета: не так заметно, что они давно выгорели.

Дорожка упиралась в расположенное по центру главное здание. На первом этаже – столовая и большая баня. На втором – лекционный зал, несколько аудиторий и даже комната неизвестно для каких гостей. Рядом с этим корпусом – еще одно общежитие, тоже трехэтажное. Двор очень широкий, на зеленых газонах, ловя солнечные лучи, вращались поливалки. За главным зданием – поле для бейсбола и футбола и шесть теннисных кортов. Что еще нужно?

Единственная проблема общежития заключалась в царившей здесь радикальной подозрительности. Общагой управляло некое сомнительное юридическое лицо, состоявшее преимущественно из ультраправых элементов. Их способ управления казался – что естественно, на мой взгляд, – странно извращенным.

Чтобы понять его, вполне достаточно было прочесть рекламный буклет и правила проживания: «Служить идеалам воспитания одаренных кадров для укрепления родины». Сие послужило девизом при создании общежития: согласные с лозунгом финансисты вложили частные средства... Но это – лицевая сторона. Что же касается оборотной, истинного положения вещей не знал никто. Одни говорили, что это уход от налогов, другие – самореклама, третьи – афера для получения первоклассного участка земли под предлогом создания общежития. Некто считал, что тут кроется более глубокий смысл. По такой версии, целью создателя была организация подпольной финансовой группировки выходцев из общежития. И действительно, в общежитии имелся особый клуб, куда входила элита ее жильцов. Точно не знаю, но несколько раз в месяц проводились семинары с участием основателя, и члены этого клуба затем не испытывали сложностей с трудоустройством. Я не мог судить, насколько правдивы или ошибочны эти версии. У них всех общее одно: тут что-то неспроста.

Так или иначе, я прожил в этом подозрительном месте ровно два года – с весны 1968-го по весну 1970-го. Я не смогу ответить, что продержало меня там все это время. В быту разница между правыми и левыми, лицемерием и злорадством не так уж и велика.

День общежития начинался с торжественного подъема государственного флага. Естественно, под государственный же гимн. Как спортивные новости неотделимы от марша, подъем флага неотделим от гимна. Площадка с флагштоком располагалась по центру двора и была видна из каждого окна каждого корпуса общежития.

Подъем флага – обязанность начальника восточного (где жил я) корпуса, высокого мужчины под шестьдесят, с проницательным взглядом. В жестковатой с виду шевелюре проскальзывала седина, загорелую шею пересекал длинный шрам. Я слышал, он окончил военную школу в Накано, но насколько это достоверно, утверждать не берусь. За ним следовал студент в должности помощника поднимающего флаг. Его толком никто не знал. Острижен наголо, всегда одет в студенческую форму. Я не знал ни его имени, ни номера комнаты, где он жил. И ни разу не встречался с ним ни в столовой, ни в бане. Я даже не знал, действительно он студент или нет. Раз носит форму, выходит – студент, что еще можно подумать? В отличие от накановца, он был приземист, толст и бледен. И эта пара двух абсолютных антиподов каждый день в шесть утра поднимала во дворе общежития флаг.

В первое время я из любопытства нередко просыпался пораньше, чтобы наблюдать эту патриотическую церемонию. В шесть утра, почти одновременно с сигналом радио парочка показывалась во дворе. Униформист – непременно в черных ботинках под свой студенческий прикид, накановец – в белой спортивной обуви к джемперу. Униформист держал тонкую коробку из павлонии, накановец нес портативный магнитофон «Сони». Накановец ставил магнитофон на ступеньку площадки флагштока. Униформист открывал коробку, в которой лежал аккуратно свернутый флаг. Униформист почтительно передавал флаг накановцу, который привязывал его к тросу. Униформист включал магнитофон.

Государственный гимн.

Флаг легко взвивался по флагштоку.

На словах «...из камней...» он находился еще примерно посередине, а к фразе «...до тех пор» достигал верхушки. Эти двое вытягивались, как по стойке смирно, и устремляли взоры на флаг. В ясную погоду, когда дул ветер, вполне даже смотрелось.

Вечерний спуск флага производился аналогичной церемонией. С точностью до наоборот: флаг скользил вниз и укладывался в коробку из павлонии. Ночью флаг не развевается.

Я не знаю, почему флаг спускали на ночь. Государство остается государством и в темное время суток, немало людей продолжают работать. Мне почему-то казалось несправедливым, что путеукладчики и таксисты, хостессы в барах, пожарные и охранники не могут находиться под защитой государства. Но это, на самом деле, не столь важно. И уж подавно никто не обижался. Думал об этом, пожалуй, только я один. Да и то – пришла в голову мысль, но я на ней не заикливался.

По правилам общежития, перво- и второкурсники жили по двое, студентам третьего и четвертого курсов предоставлялись отдельные апартаменты. Двухместная комната площадью около десяти квадратных метров (чуть длиннее обычной комнаты в шесть татами), напротив входа – алюминиевая рама окна, перед окном два параллельно стоящих учебных стола со стульями. С левой стороны от входа – двухъярусная железная кровать. Вся мебель максимально проста и массивна. Помимо столов и кровати, имелись два ящика-гардероба,

маленький кофейный столик и самодельная книжная полка. Никакой лирики в обстановке не заметил бы даже самый благожелательный взгляд. На полках почти во всех комнатах ютились в ряд транзисторные приемники и фены, электрические чайники и термосы, растворимый кофе и чайные пакетики, гранулированный сахар и кастрюльки для варки лапши, а также обычная столовая посуда. На оштукатуренные стены приклеены картинки – девушки из «Хэйбон панчи»[4 - «Хэйбон панчи» – издававшийся до конца 70-х годов еженедельник, популярный среди молодежи.] или где-нибудь содранные постеры порнографических фильмов. Один парень смеху ради повесил фотографию случки свиней, но это было исключением среди исключений. Почти во всех комнатах стены украшали голые девушки, молодые певицы или актрисы. На подставках над столами выстроились учебники, словари и прочая литература.

Ожидать чистоты в юношеских комнатах было бессмысленно, и почти все они кошмарно заросли грязью. Ко дну мусорного ведра прилипла заплесневевшая мандариновая кожура, в банках, служивших пепельницами, громоздились горы окурков. Тлевшие бычки нередко тушились кофе или пивом, отчего из банок ужасно смердело. Посуда вся почерневшая, с остатками еды. На полу валялся целлофан от сублимированной лапши, пустые пивные банки, всякие крышки и непонятные предметы. Взять веник, замести на совок мусор и выбросить его в ведро никому не приходило в голову. На сквозняке с пола столбом поднималась пыль. Какую комнату ни возьми – жуткий запах. В каждой комнате он специфичен, но основа везде одинакова: вонь от мусора, тела и пота. Под кроватями у всех скапливается грязное белье, матрас сушится, когда придется, и ему ничего не остается, как впитывая в себя сырость, источая устойчивый смрад затхлости. До сих пор с удивлением думаю, как в этом хаосе не возникла никакая смертельная эпидемия.

В сравнении с прочими, в моей комнате было чисто, как в морге. На полу – ни пылинки, окна – без единого пятнышка, постель сушилась регулярно раз в неделю, карандаши собраны в пенал, и даже шторы стирались раз в месяц. Мой сосед по комнате болезненно относился к чистоте. Кому бы я ни рассказывал, что он раз в месяц стирает шторы, никто не верил – никто даже не догадывался, что шторы вообще можно стирать. Все свято полагали, что шторы с окон не снимаются вообще. «Какой-то он странный», – поговаривали они. А потом моего соседа начали называть «наци» и «штурмовик».

В моей комнате не было ни одного женского постера. Вместо них висела фотография канала в Амстердаме. Когда я попытался было прикрепить какую-то

порнушку, мой сосед со словами: «Ватанабэ, не лю-люблю я этого», – содрал ее, и наклеил вместо нее портрет канала. Нельзя сказать, что мне очень хотелось вешать порнографию, поэтому возражать я не стал. Все, кто заходили в нашу комнату, задирали голову на портрет канала и спрашивали:

– Что это? – а я отвечал:

– Штурмовик на это дробит.

Я говорил это в шутку, но все велось. Настолько легко, что потом я и сам начал этому верить.

Все сочувствовали мне, как соседу Штурмовика, но я особого дискомфорта не испытывал. Пока вокруг царила чистота, мне, наоборот, было очень даже удобно; к тому же, Штурмовик никогда не вмешивался в мою жизнь. Сам делал уборку, сушил матрас, выносил мусор. Когда же я забывал сходить в баню три дня подряд – шмыгал носом и советовал помыться. Иногда напоминал: «Пора бы тебе постричься», или «Хорошо бы проредить волосы в носу». Одного я терпеть не мог – когда он, заприметив одинокого москита, забрызгивал всю комнату дихлофосом. В такие дни мне оставалось только искать укрытия в хаосе соседних комнат.

Штурмовик изучал географию в одном государственном университете.

– Я изучаю ге-ге-географию, – сказал он, едва мы познакомились.

– Карты любишь? – спросил я.

– Да. Вот закончу учиться – поступлю в Государственное управление географии. Буду ка-карты составлять.

Я восхитился: в мире столько разных желаний и целей жизни. Это, пожалуй, стало моим первым восхищением по приезде в Токио. И в самом деле – людей, пылающих страстью к картографии, не так и много. Тем более, что много и не требуется – иначе что с ними всеми делать? Однако заикающийся каждый раз на слове «карта» человек, который спит и видит себя в Государственном управлении географии – это нечто. Заикался он, конечно, не всегда, но на слове

«карта» – однозначно.

– А тво-твоя специализация? – спросил сосед.

– Театральное искусство.

– В смысле, в спектаклях играть?

– Нет, не это. Читать и изучать драму. Там... Расин, Ионеско, Шекспир...

– Я, кроме Шекспира, больше никого не знаю, – признался он.

– Я и сам раньше о них не слышал. Просто эти имена стоят в плане лекций.

– Ну, то есть, тебе нравится?

– Не так, чтобы...

Ответ его смутил. И по мере замешательства заикание усилилось. Мне показалось, что я совершил страшное злодеяние.

– Да мне было все равно, – пояснил я. – Хоть этнография, хоть история Востока. Подвернулось театральное искусство, вот мне и захотелось. Просто так. – Но убедить его этим я не смог.

– Не понимаю, – сказал он с действительно непонимающим видом, – Во-вот мне... нравятся ка-карты, поэтому я изучаю ка-ка-картографию. Для этого я специально поступил в токийский институт, получаю регулярные переводы на обучение. А у тебя, говоришь, все не так?..

И он был прав. Я уже не пытался что-либо объяснять. Затем мы вытянули на спичках, где кому спать. Ему досталась верхняя кровать, я расположился на нижней.

Он постоянно носил белую майку, черные брюки и темно-синий свитер. С наголо обритой головой, высокого роста, сутулый. На учебу непременно одевал форму.

И ботинки, и портфель были черными как сажа. По виду – вылитый студент с «правым» уклоном; может, поэтому окружающие звали его Штурмовиком, хотя, по правде говоря, он не питал к политике ни малейшего интереса. Просто ему было лень подбирать себе одежду, он так и ходил – в чем было. Его интересы ограничивались изменениями морских береговых линий или введением в строй новых железнодорожных тоннелей. И стоило зайти разговору на эту тему, он мог, заикаясь и запинаясь, говорить и час, и два – пока собеседник либо засыпал, либо бежал от него.

От раздававшегося в шесть утра гимна он просыпался, как по будильнику. Выходило, что показательная церемония поднятия флага была не совсем бесполезной. Штурмовик одевался и шел к умывальнику. Процесс умывания был долг. Казалось, он по очереди снимает и вычищает все свои зубы. Возвращаясь в комнату, с хлопком расправлял и вешал сушить на батарею полотенце, возвращал на место мыло и зубную щетку. Затем включал радио и начинал утреннюю гимнастику.

Я обычно допоздна читал и спал бы крепким сном до восьми, не реагируя на его утреннюю возню и шум. Но когда он переходил к прыжкам, я не мог не проснуться. Еще бы: при каждом его подскоке – и нужно заметить, высоком, – кровать подскакивала тоже. Три дня я терпел, при этом уверяя себя, что в совместной жизни терпимость необходима, но на четвертый пришел к выводу, что сил у меня больше нет.

– Знаешь, не мог бы ты делать гимнастику где-нибудь на крыше? – спросил я прямо. – А то ты мне спать не даешь.

– Но ведь уже полседьмого! – изумленно ответил он.

– Это я и сам знаю. Для меня такое время – еще глухая ночь. Долго объяснять, почему, но это так.

– Не годится. Буду заниматься на крыше – начнут жаловаться с третьего этажа. А под нашей комнатой – склад, поэтому никто и слова не скажет.

– Ну тогда занимайся во дворе. На травке, а?

– Тоже не годится. У ме-меня не транзисторный приемник. Без розетки не работает. А не будет музыки – я не смогу делать зарядку.

И в самом деле: его древний приемник работал только от сети. С другой стороны, транзистор имелся у меня, но принимал только музыкальные стереопрограммы. «И что теперь?» – подумал я.

– Давай договоримся. Зарядку делай, только подпрыгивай вот так – «прыг-скок», а? А то ты не прыгаешь, а скачешь. Идет?

– «П-прыг-скок»? – удивился он. – Что это такое?

– Когда прыгаешь, как зайчик.

– Таких прыжков не бывает...

У меня разболелась голова. Уже было подумал: а и черт с ним, – но раз сам завел разговор, нужно разобраться до конца. Напевая главную мелодию радиогимнастики, я показал ему «прыг-скок».

– Видишь? Вот так. Такие бывают?

– То-точно, бывают. А я не замечал!

– Ну вот. – Я присел я на кровать. – И давай обойдемся без твоих скачков? Все остальное я как-нибудь потерплю – только брось скакать, как лошадь. Дай мне поспать.

– Не годится, – просто сказал он. – Я не могу ничего выбрасывать. Я такую гимнастику делаю уже десять лет. Каждое утро. Начинаю, и дальше – все машинально. Выброшу что-то одно, и пе-пе-перестанет получаться все остальное...

Больше я ничего не говорил. А что я мог ему сказать? Проще всего было в его отсутствие взять это проклятое радио и выбросить в окно. Но поступи я так, разразился бы скандал – будто люк в ад откроется. Штурмовик был не из тех, кто разбрасывается своими вещами. Когда, лишившись дара речи, я,

опустошенный, улегся на кровать, он подошел и попытался меня утешить:

– Ва-ватанабэ, а что если ты будешь просыпаться и делать гимнастику вместе со мной? – И он отправился на завтрак.

Когда я рассказывал о Штурмовике и его утренней гимнастике, Наоко прыскала со смеху. Я не собирался делать из рассказа комедию, но в конечном итоге принялся хмыкать сам. Давно я не видел Наоко веселой, хотя спустя мгновение улыбка уже исчезла с ее лица.

Мы вышли на станции Йоцуя и зашагали по насыпи к Ичигая[5 - Станции Центральной линии железнодорожной сети «Джапэн Рэйлроуд»]. Воскресный вечер в середине мая. До обеда накрапывал дождик, но теперь тяжелые тучи южным ветром уносило с неба одну за другой. Ярко-зеленые листья сакуры колыхались и сверкали на солнце. В воздухе пахло летом. Люди несли свои свитера и пальто кто на руке, кто перебросив через плечо. В теплом воскресном свете все казались счастливыми. На теннисном корте по ту сторону насыпи молодой человек снял майку и размахивал ракеткой в одних шортах. И только две сидевшие на лавке монашки были облачены по-зимнему в черное – судя по одеянию, можно было предположить, что первые летние лучи до них еще не добрались. Но это не мешало сестрам задушевно беседовать на солнцепеке.

Минут через пятнадцать у меня вспотела спина, и я снял плотную рубашку и остался в одной майке. Наоко закатала до локтей рукава бледно-серой олимпийки. Вещь сильно поношенная, но выцвела приятно. Кажется, я видел ее раньше в этой олимпийке, но припоминал весьма смутно. Показалось, наверное. В то время я еще знал Наоко очень мало.

– Как тебе совместная жизнь? Интересно жить с другими людьми? – спросила Наоко.

– Я сам толком не понял. Пошел только второй месяц. Но в общем – неплохо. Во всяком случае, не в тягость.

Она остановилась перед фонтанчиком, сделала один глоток воды и вытерла рот платком. Затем нагнулась и аккуратно перевязала шнурки.

– Как ты думаешь, мне такая жизнь подойдет?

– В смысле, совместная? Общежитие, что ли?

– Да, – ответила Наоко.

– Как сказать... Все зависит от того, как посмотреть.хлопот, конечно, хватает. Дурацкие правила, гонор пошляков. Сосед начинает зарядку в полседьмого. Но если представить, что такого полно и в других местах, перестаешь обращать внимание. Как подумаешь, что больше жить негде, так вполне сойдет и здесь. По-моему.

– А-а, – кивнула Наоко, и, как мне показалось, на некоторое время ее мысли устремились куда-то вдаль. А потом она посмотрела на меня так, будто увидела во мне что-то необычное. Ее взгляд пронизал меня насквозь. До тех пор я за ней такого ни разу не замечал. Если подумать, ни разу не доводилось и мне пристально смотреть на нее. Мы впервые шли одни и разговаривали так долго.

– Ты что, в общежитии жить собралась? – спросил я.

– С чего ты взял? Просто, подумала: что это такое – совместная жизнь? И это, в общем... – Покусывая губы, Наоко подбирала слова, но так и не подобрала. А вместо этого вздохнула и посмотрела вверх. – Не знаю... Хватит об этом.

И разговор прервался. Она зашагала дальше, а я плелся сзади.

Мы встретились почти год спустя. За это время Наоко до неузнаваемости похудела. Впали щеки, шея стала тоньше. Однако не похоже, чтобы девушка болела. Она похудела как-то очень естественно и тихо. Будто бы тело, прячась в узком продолговатом чехле, просто приняло его стройную форму. И Наоко стала даже красивее, чем я до сих пор считал. Я хотел сказать ей об этом, но не смог найти таких слов и промолчал.

Мы совершенно случайно встретились в вагоне Центральной линии. Она села в электричку, собираясь в кино. Я ехал в книжные магазины на Канда[6 - Район Токио, известный скоплением издательств и различных книжных магазинов.]. В общем, и то, и другое дело нельзя было назвать важными. И когда она предложила выйти, мы вышли. Случайной станцией оказалась Йоцуя. Наедине у нас не нашлось темы для разговора. Я так и не смог понять, зачем Наоко

предложила мне выйти из электрички. Ведь нам с самого начала, в принципе, не о чем было говорить.

Мы вышли на улицу, и Наоко, не объясняя, куда собралась, сразу же зашагала вперед. Мне ничего не оставалось, как идти за ней примерно в метре. При желании расстояние, конечно, можно было сократить, но я почему-то не решался. Я шел за Наоко, разглядывая ее черные волосы, скрепленные большой коричневой заколкой. Когда она смотрела по сторонам, выглядывали маленькие уши. Иногда она оборачивалась что-нибудь спросить. На некоторые вопросы я отвечал, но были и такие, на которые я не знал что сказать. Случалось, я просто не мог ее расслышать. Но ей, казалось, было все равно. Она едва успевала договорить, сразу отворачивалась и продолжала идти вперед. Смирившись, я подумал: «Ладно, все равно хорошая погода».

Но для обычной пешей прогулки шла Наоко как-то слишком серьезно. Она свернула направо, на Итабаси, прошла вдоль рва, затем через перекресток Кампомачи, взобралась на холм Очяно-мидзу и прошла Хонго. Дальше она шагала вдоль линии электрички до Комагомэ. Такой себе пеший марафон... Когда мы дошли до Комагомэ, солнце уже село, и настал мягкий весенний вечер.

– Где мы? – как бы очнувшись, спросила Наоко.

– На Комагомэ, – ответил я. – Ты не заметила, что мы сделали круг?

– Зачем мы сюда пришли?

– Ты привела, я только шел следом.

Мы зашли перекусить в ресторанчик соба[7 - Соба – лапша из гречишной муки.] рядом со станцией. В горле пересохло, и я заказал пиво. Пока мы ели, никто не произнес ни слова. Я смертельно устал, Наоко же, положив руки на стол, опять о чем-то задумалась. В новостях по телевизору сообщали, в каких экскурсионных местах в этот воскресный день был наплыв посетителей. «А мы от Йоцуя до Комагомэ прошли пешком», – подумал я.

– А ты выносливая, – сказал я, доев лапшу.

– Тебе странно?

– Ага.

– Я еще в средней школе бегала на длинные дистанции. Десять-пятнадцать километров. К тому же, отец любил альпинизм, и я с малолетства по воскресеньям лазала в горы. У нас они прямо за домом начинаются. Так и привыкла постепенно.

– По тебе не видно.

– Правда? Ты, наверное, считаешь меня хрупким созданием? Нельзя судить о человеке по внешности. – И она как бы слегка улыбнулась.

– Ты, конечно, прости, но я вымотался.

– Извини. Это из-за меня, да?

– Зато я смог с тобой поговорить. Мы раньше никогда не разговаривали наедине. – И я попытался вспомнить, о чем же мы говорили, но так и не смог.

Наоко вращала по столу пепельницу, не замечая ее.

– Послушай, если ты не против... ну, если тебе это не в тягость... мы еще встретимся? Я понимаю, что у меня нет никаких причин так говорить...

– Причин? – удивился я. – Что это значит – «нет причин»?

Она покраснела. Видимо, с удивлением я перестарался.

– Я не могу толком объяснить, – как бы оправдываясь, сказала Наоко. Она сначала закатала оба рукава олимпийки выше локтей, потом снова разгладила их. В электрическом свете пушок у нее на лице стал красивым, желто-золотистым. – Я не хотела говорить «причина», думала сказать иначе.

Наоко облокотилась на стол и принялась рассматривать настенный календарь. Будто надеялась найти в нем подходящее объяснение. Но, естественно, ничего не нашла. Потом вздохнула, закрыла глаза и потрогала заколку.

– Ничего страшного, – попробовал ее успокоить я. – Кажется, я понимаю, о чем ты. Только сам не знаю, как это сказать.

– Вот и у меня не получается. Причем, давно. Соберусь что-нибудь сказать, а в голове какие-то неуместные слова всплывают. Или совершенно наоборот. Собираюсь поправить себя, начинаю еще больше волноваться и говорю что-то лишнее. Оп – и уже не помню, чего хотела в самом начале. Такое ощущение, что мое тело разделено на две половины, которые играют между собой в догонялки. А в центре стоит очень толстый столб, и они вокруг него бегают. И все правильные слова – в руках еще одной меня, но здешняя «я» ни за что не могу догнать себя ту.

Наоко посмотрела мне в глаза.

– Ты это понимаешь?

– Такое в большей или меньшей степени случается с каждым, – изрек я. – Все пытаются выразить себя, но толком у них не выходит, вот они и нервничают.

Наоко мои слова, похоже, несколько разочаровали.

– Но это – другое, – вздохнула она, и больше ничего не объясняла.

– Я нисколько не против наших встреч, – сказал я. – Все равно по воскресеньям болтаюсь без дела. Да и пешком ходить – полезно для здоровья.

Мы сели на кольцевую линию Яманотэ. На Синдзюку Наоко пересела на Центральную. Она снимала маленькую квартиру в Кокубундзи.

– Скажи, моя речь сильно изменилась? – спросила на прощанье она.

– Если и да, то самую малость. Даже непонятно, что именно. Мы тогда встречались нередко, но я, признаться, не помню, чтобы мы разговаривали.

– Точно, – согласилась она. – Можно я позвоню тебе в эту субботу?

– Конечно. Буду ждать...

Впервые я встретился с ней, когда перешел во второй класс старшей[8 - Предпоследний школьный класс в Японии. Возраст учеников – 16 лет.] школы. Наоко тоже училась во втором классе женской гимназии – миссионерского лицея «для благородных девиц». Настолько благородных, что прилежным ученицам тыкали в спину пальцем и говорили «Вон мамзель какая пошла!» У меня был очень хороший приятель по фамилии Кидзуки. В общем, даже не приятель, а прямо скажем – мой единственный друг. И у него была подруга – Наоко. Они с пеленок росли вместе и жили по соседству, менее чем в двухстах метрах друг от друга.

Как это часто бывает с подобными парами, отношения у них были очень открытыми – даже не возникало стремления уединиться. Они часто ходили друг к другу в гости, ужинали семьями, играли в маджан. Несколько раз устраивали для меня парные свидания. Наоко приводила с собой какую-нибудь одноклассницу, и мы вчетвером ходили в зоопарк, в бассейн или в кино. Признаться, одноклассницы Наоко при всей своей симпатичности были слишком хорошо воспитаны для общения со мной. Мне больше подходили девчонки из нашей муниципальной старшей школы, с которыми я мог беззаботно болтать, не обращая внимания на их угловатость. О чем думали хорошенькие девицы из круга Наоко, я совершенно не понимал. Как и они вряд ли могли понять меня.

Поэтому Кидзуки, в конце концов, отказался от парных свиданий, и мы стали просто ходить куда-нибудь втроем: Кидзуки, Наоко и я. Странное дело – так было приятнее всего, и получалось вполне сносно. Появлялся кто-нибудь четвертый – и атмосфера накалялась. А так, пока мы были втроем, я чувствовал себя гостем, Кидзуки – компетентным ведущим, а Наоко – его ассистенткой в телевизионной программе «Беседы со знаменитостью». В центре нашей компании всегда находился Кидзуки. Это он умел: была в нем, сказать по правде, немалая доля сарказма, и потому окружающие считали его высокомерным. На самом же деле, он был добр и справедлив. Когда мы оставались втроем, он одинаково внимательно разговаривал и шутил и с Наоко, и со мной и вообще старался, чтобы мы оба не скучали. Как только Кидзуки замечал, что кто-нибудь долго молчит, он обращался к нему и вытягивал

собеседника на разговор. Глядя на него, я думал: как, должно быть, это трудно. Но на самом деле, пожалуй, все было намного проще. Кидзуки умел мгновенно оценивать тональность беседы и действовал по ситуации. Вдобавок, у него имелся редкостный талант извлекать из посредственного в целом собеседника что-нибудь интересное. Потому мне и казалось, что я – очень интересный человек и веду не менее интересный образ жизни.

Но общительным человеком назвать его было нельзя. И в школе он ни с кем не дружил – если не считать меня. Я же никак не мог понять, почему этот дерзкий и талантливый человек не направляет свои способности в более широкий мир, а довольствуется нашим тесным кругом. Как и причину того, почему он выбрал себе в приятели именно меня. Да, я любил в одиночестве почитать или послушать музыку, но считал себя человеком обычным и неприметным. Ну не было во мне ничего выдающегося. Несмотря на это, мы сразу же сошлись характерами и подружились. Его отец был зубным врачом и славился высоким мастерством и не менее высокими расценками.

– Как ты? Не против сходить куда-нибудь вчетвером? Моя подруга из женского лица приведет симпатичную девчонку, – предложил Кидзуки, едва мы успели познакомиться. Я согласился. Так я и встретился с Наоко.

Хотя виделись мы часто и проводили втроем немало времени, когда Кидзуки однажды пришлось отлучиться, и мы с Наоко остались наедине, разговор никак не складывался. Мы просто не знали, о чем говорить: на самом деле, у нас не было ни одной общей темы. Что уж тут? Мы молча пили воду и двигали стоявшие на столе предметы. В общем, ждали, когда вернется Кидзуки. А с его появлением беседа возобновилась. Наоко была не из самых разговорчивых, да и мне больше нравилось слушать, чем говорить самому. Поэтому оставаясь с нею наедине, я чувствовал себя неуютно. Вовсе не значит, что мы не подходили друг другу. Просто нам не о чем было говорить.

Через две недели после похорон Кидзуки один раз мы с Наоко встретились. Оставалось небольшое дело, и мы договорились о свидании в кафе. А когда все обсудили, больше и разговаривать оказалось не о чем. Я попытался разговорить ее, но беседа постоянно обрывалась на полуслове. Плюс ко всему, отвечала она резковато. Будто бы сердилась на меня, но почему – я не знал. Мы расстались, и до случайной встречи год спустя в электричке не виделись ни разу.

Может, Наоко сердилась, что не она, а я был последним, кто разговаривал с Кидзуки? Может, это звучит неэтично, но я, кажется, понимал ее настроение. И будь это возможно, хотел бы, чтобы на моем месте оказалась она. Однако что случилось, то случилось. И что бы мы себе ни думали, уже ничего не изменить.

В тот погожий майский день мы пообедали, и Кидзуки предложил вместо оставшихся занятий покатать шары. Я тоже не испытывал к оставшимся урокам особой симпатии, и мы, выйдя из школы, спустились с пригорка до порта, зашли в бильярдную и сыграли четыре партии. Когда я легко выиграл первую, Кидзуки сразу стал играть всерьез и в оставшихся трех отыгрался. По уговору я заплатил за игру. За все время он ни разу не пошутил – а для него это большая редкость. Закончив игру, мы сели перекурить.

– Ты какой-то серьезный, – заметил я.

– Сегодня не хотелось проигрывать, – улыбнулся он.

Той же ночью он умер в гараже собственного дома. Протянул от выхлопной трубы «N-360»[9 - Популярная во второй половине 60-х годов XX века малолитражка «Хонды».] резиновый шланг, залепил окна в салоне липкой лентой и запустил двигатель. Долго ли он умирал, я не знаю. Родители уезжали навестить кого-то в больнице, а когда вернулись и открыли двери гаража, Кидзуки уже был мертв. И только радио играло в машине, да дворники прижали к стеклу чек с автозаправки.

Ни предсмертной записки, ни очевидных причин. Поскольку я был последним, кто встречался и разговаривал с ним, меня вызвали в полицию на допрос. «По нему ничего не было видно, вел себя как всегда», – сказал я следователю. Видимо, ни я, ни Кидзуки на следователя положительного впечатления не произвели. В его глазах читалось: «Что может быть странного в самоубийстве человека, который вместо занятий катает шары?» В газету поместили короткий некролог, и на этом дело закрыли. «N-360» пустили под пресс. Некоторое время на парте Кидзуки стояли белые цветы.

Оставшиеся десять месяцев до окончания школы я не мог найти себе места в окружающем мире. Сблизился с одной девчонкой, но не выдержал и полугода. Она так и не вызвала у меня никаких чувств. Я выбрал частный токийский институт, куда наверняка можно было поступить без особой подготовки. И

совершенно спокойно стал студентом. Девчонка просила не уезжать в Токио, но мне хотелось непременно покинуть Кобэ. И начать новую жизнь в городе, где меня никто не знает.

– Тебе наплевать на меня, потому что я спала с тобой? – в слезах говорила она.

– Вовсе нет.

Просто мне хотелось уехать подальше от своего города, но она этого не понимала. И мы расстались. В кресле «синкансэн» в Токио я вспоминал все хорошее, что было в ней, и раскаивался от того, какую подлость совершил. Но было уже поздно. Лучше забыть о ней.

Когда я поселился в токийском общежитии и начал новую жизнь, мне требовалось лишь одно: не брать в голову разные вещи и как можно лучше постараться отстраниться от них. Я решил насовсем забыть зеленое сукно бильярдного стола, красный «N-360», белые цветы на парте, дым из трубы крематория и тяжелое пресс-папье на столе следователя. Первое время казалось, что мне это удастся. Но сколько бы я ни пытался все забыть, во мне оставался какой-то аморфный сгусток воздуха, который с течением времени начал принимать отчетливую форму. Эту форму можно выразить словами.

СМЕРТЬ – НЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ ЖИЗНИ, А ЕЕ ЧАСТЬ.

На словах звучит просто, но тогда я чувствовал это не на словах, а упругим комком внутри своего тела. Смерть закралась и внутрь пресс-папье, и в четыре шара на бильярдном столе. И мы жили, вдыхая ее, словно мелкую пыль.

До тех пор я воспринимал смерть как существо, полностью отдаленное от жизни. Иными словами: «Смерть рано или поздно приберет нас к рукам. Однако до того дня, когда смерть приберет нас к рукам, она этого сделать не может». И такая мысль казалась мне предельно точной теорией. Жизнь – на этой стороне, смерть – на той. Я нахожусь по эту сторону, и там меня нет.

Однако после смерти Кидзуки я уже не мог так просто воспринимать смерть (как и жизнь тоже). Смерть – не полярная жизни субстанция. Смерть изначально

существует во мне. И как ни пытайся, устраниться от нее невозможно. Унеся Кидзуки в ту майскую ночь семнадцатилетия, смерть одновременно схватила и меня.

С таким вот сгустком внутри я проводил свою восемнадцатую весну. И при этом старался не горевать, потому что в глубине души понимал: горевать – не значит непременно приближаться к истине. Хотя, если подумать, смерть оставалась горькой правдой. В этой удушливой противоречивости я продолжал свое бесконечное странствие. Сейчас уже можно сказать: то было странное время. В самом водовороте жизни все вращалось вокруг смерти.

Глава 3

Наоко позвонила в следующую субботу, и мы условились о свидании на воскресенье. Пожалуй, наши встречи можно назвать свиданиями, поскольку другие слова в голову не приходят.

Как и в прошлый раз, мы гуляли по городу, зашли в какое-то кафе, опять гуляли, вечером поужинали и, попрощавшись, расстались. Наоко по-прежнему лишь изредка роняла отдельные слова и особо не обращала на это внимание. Я тоже не припомню за собой осмысленного разговора. Когда совпадало настроение, мы рассказывали о своей жизни и учебе, но все эти рассказы получались бессвязными. Прошное оставалось для нас табу. Мы лишь бродили по городу, благо Токио – город большой, и весь его не исходишь.

Мы встречались почти каждую неделю и продолжали гулять. Она шагала впереди, я немного отставал. У Наоко имелось большое количество заколок разных форм, и всеми она непременно открывала правое ухо. Тогда я видел перед собой лишь ее затылок, и прекрасно помню его до сих пор. Когда Наоко стеснялась, она вертела заколку в руках. И часто вытирала платком рот. Была у нее такая привычка: промакивать рот, прежде чем что-нибудь сказать. Глядя на нее, я постепенно проникался к ней симпатией.

Она училась в институте на окраине Мусасино. Укромное учебное заведение славилось преподаванием английского языка. Вблизи ее дома располагался живописный водоем, и мы иногда гуляли вокруг него. Наоко приглашала меня к

себе, готовила еду и, похоже, нисколько не обращала внимания на то, что мы оставались наедине. Уютная комната, ничего лишнего. Если бы не сохшие на окне колготки, трудно было поверить, что здесь живет девушка. Наоко существовала очень просто и аккуратно, и подруг почти не имела. Помня ее со школьной поры, я не мог предположить в ней такие перемены. В те годы Наоко одевалась изысканно, и ее всегда окружали подружки. У нее дома я понял, что Наоко, так же как и я, после школы хотела уехать на учебу в другой город, чтобы начать жизнь в таком месте, где ее никто не знает.

– Я выбрала этот институт потому, что из нашей школы никто сюда не поступал, – улыбнулась она. – Наши выбирают институты пошикарней. Догадываешься, какие?

Нельзя сказать, что в наших отношениях не было прогресса. Постепенно Наоко привыкала ко мне, а я – к ней. Закончились летние каникулы, начался новый семестр, и она очень естественно – как само собой разумеется – начала ходить рядом со мной. Думаю, так она дала понять, что признала меня своим другом, и мне было очень приятно гулять с такой красивой девушкой. Мы продолжали бесцельные прогулки по Токио: взбирались на холмы, переправлялись через реки, переходили дороги и продолжали куда-то идти. У нас не было цели. Нам было достаточно просто идти куда-нибудь. Мы увлеченно шагали, будто выполняли некий ритуал для успокоения души. Когда лил дождь, ходили под зонтиком.

Вскоре наступила осень, и весь внутренний двор общежития усыпали листья дзельквы. Надевая свитер, я почувствовал запах нового времени года. Истопталась обувь, и я купил новую пару – из замши.

Мне трудно припомнить, о чем мы тогда говорили. Думаю, вряд ли о чем-то серьезном. И по-прежнему не касались прошлого. Имя Кидзуки почти не всплывало в наших разговорах. Мы вообще говорили нечасто, и привыкли просто молча смотреть друг на друга в каком-нибудь очередном кафе.

Наоко хотела больше узнать о Штурмовике, и я часто рассказывал о нем. Один раз он сходил на свидание с однокурсницей (разумеется, с факультета географии), но вечером вернулся очень унылый. Было это в июне. Штурмовик спросил меня:

– Послушай, Ватанабэ, ты с де-девчонками о чем говоришь... обычно?

Я не помню, что ответил ему тогда, но одно могу сказать точно: он явно задал вопрос не по адресу. В июле, пока его не было, кто-то содрал фотографию амстердамского канала и наклеил вид моста Золотые ворота в Сан-Франциско – видимо, из чистого любопытства: сможет ли Штурмовик дрончить, разглядывая мост? Стоило мне сообщить, что делал он это с радостью, в следующий раз наклеили ледники. Однако после каждой такой смены декораций Штурмовик сильно расстраивался:

– В конце концов, к-к-кто это делает?

– Ну-у... А что плохого? Фотографии-то все красивые, как на подбор. Кто бы это ни был, мы должны радоваться.

– Так-то оно так. Но все равно – противно.

Эти истории смешили Наоко. Она смеялась редко, и я старался веселить ее байками о Штурмовике, хотя, по правде говоря, мне вовсе не хотелось выставлять его посмешищем. Он просто был чересчур серьезен: третий сын в совсем не богатой семье. Лишь карты были скромной мечтой его скромной жизни. Кто вправе над этим смеяться?

При этом «байки о Штурмовике» уже стали одной из постоянных тем для разговоров в общежитии. Даже если б я попытался в тот момент их прекратить, сделать это оказалось бы невозможно. К тому же, мне было приятно видеть улыбку на лице Наоко. Поэтому я продолжал снабжать окружающих новыми историями о Штурмовике.

Лишь один раз Наоко поинтересовалась, есть ли у меня подруга. Я рассказал о той, с которой расстался.

– Хорошая была девчонка, мне нравилось с ней спать, и я до сих пор иногда по-доброму ее вспоминаю. Но почему-то она мне была не по сердцу. Видимо, сердце прячется в твердой скорлупе, и расколоть ее дано немногим. Может, поэтому у меня толком не получается любить.

– Ты что, никого не любил? – спросила Наоко.

– Нет.

Больше она ничего не спрашивала.

Когда задули холодные осенние ветры, она, бывало, прижималась к моей руке. Через толстый ворс ее пальто я ощущал тепло. Она брала меня под руку, ладошкой залезала мне в карман, а когда холодно становилось невыносимо, дрожала, крепко уцепившись за меня. Но это ни о чем не говорило. В ее поведении не было ничего двусмысленного. Я продолжал идти как ни в чем ни бывало, руки в карманах. Обувь у нас была на резиновой подошве, и шаги почти не слышались. Лишь сухо шуршало под ногами, когда мы наступали на опавшие листья огромных платанов. Я вслушивался в шуршание листьев, и мне становилось жаль Наоко. Ей была нужна не моя, а чья-нибудь рука. Ей требовалось не мое, а чье-нибудь тепло. И я начал чувствовать себя виновным за то, что я – это я.

Чем больше зима вступала в свои права, тем прозрачнее казались глаза Наоко. Такая безысходная прозрачность. Иногда Наоко без всякой причины всматривалась в мои глаза, будто что-то искала в них. И каждый раз мне становилось невыносимо грустно.

Я начал подумывать, что она, видимо, хочет мне что-то сообщить, но не может найти слов. Нет, даже не так. Прежде чем выразить словами, она не может сформулировать мысль в себе. Поэтому и на словах ничего не выходит. Она лишь то и дело сжимает закатку, вытирает платком рот и бессмысленно всматривается в мои глаза. Иногда мне хотелось обнять ее, но я всякий раз сомневался да так и не решился. Мне казалось, что тем самым я могу ее обидеть. И мы по-прежнему продолжали гулять по Токио, а Наоко – выискивать в пустоте слова.

Общежитские поддразнивали меня, когда звонила Наоко или я по утрам в воскресенье собирался уходить. Они, разумеется, полагали, что у меня завелась подружка. Я не собирался им ничего объяснять, и даже не видел в этом необходимости, а потому оставлял все как есть. Когда я возвращался вечером в общагу, кто-нибудь непременно интересовался, какая была поза, как у нее там внутри, какого цвета трусики. Мне оставалось лишь что-нибудь выдумывать в

ответ на эти пошлости.

Незаметно мне исполнилось девятнадцать. Выходило и заходило солнце, спускался и поднимался флаг, а я по воскресеньям встречался с подружкой покойного друга. Я не осознавал, ни что сейчас делаю, ни как быть дальше. На лекциях я слушал про Клоделя, Расина и Эйзенштейна, но мне они ничего не дали. Товарищей среди однокашников я себе не завел, с соседями по общежитию только здоровался. Я постоянно читал книги, и общежитские считали, что я собираюсь стать писателем. А я не собирался становиться писателем. Я вообще не собирался становиться никем.

Несколько раз я порывался рассказать о своих мыслях Наоко. Мне казалось, она должна правильно понять мое настроение. Но подобрать слова, чтобы выразить свои чувства, не мог.

«Странное дело, – думал я, – будто бы заразился от нее болезнью поиска слов».

В субботу вечером я сидел на стул в коридоре возле телефона и ждал звонка от Наоко. По субботам все уходило в город, и в коридоре становилось тише обычного. Разглядывая витавшие в безмолвном пространстве частички света, я пытался разобраться в себе. Что мне нужно? И что нужно людям от меня? Я не мог подыскать достойный ответ. Иногда я протягивал к витающим частичкам света руку, но пальцы ничего не касались.

Мне нравилось читать, но читал не запоем, а с удовольствием по несколько раз перечитывал любимые. В те годы – Трумэна Капоте, Джона Апдайка, Скотта Фитцджеральда, Рэймонда Чандлера. Ни в классе, ни в общежитии никто больше не любил этих писателей. Все предпочитали романы Кадзумы Такахаси[10 - Кадзумы Такахаси (1931–1971) – японский политический писатель и критик, участник студенческого движения.], Кэндзабуро Оэ, Юкио Мисимы или же современных французов. Интересы у нас не совпадали, поэтому я молча продолжал глотать книги в одиночестве. Перечитав в очередной раз, я закрывал глаза и вдыхал книжный запах. Нюхая корешок, прикасаясь руками к страницам, я чувствовал себя счастливым.

В восемнадцать самым любимым произведением у меня был роман Джона Апдайка «Кентавр». Однако затем он приелся, и пальма первенства перешла к «Великому Гэтсби» Фитцджеральда. С тех пор этот роман был для меня лучшим. Я завел обычай: в хорошем настроении доставать с полки эту книгу, открывать и перечитывать с первой попавшейся страницы. И ни разу я не остался разочарованным, поскольку в книге не было ни одной посредственной страницы. «Какая прекрасная вещь», – думал я. Мне хотелось поведать об этом всем, но вокруг не было никого, кто прочитал бы его или хотя бы считал, что стоит прочесть. В 1968 году чтение Фитцджеральда не возбранялось, но при этом однозначно не рекомендовалось.

В то время в моем окружении имелся только один человек, который читал Фитцджеральда. Благодаря этому мы и подружались. Звали его Нагасава. Он учился на два курса старше меня на юрфаке Токийского университета. Мы жили в одном общежитии и знали друг друга в лицо. Когда однажды я, греясь на солнышке в столовой, читал «Великого Гэтсби», он присел рядом и спросил, что за книга. Я ответил.

– Интересная? – осведомился он.

– Перечитываю в третий раз. И чем больше читаю, тем больше интересных мест.

– Читающий в третий раз «Великого Гэтсби», пожалуй, может стать моим другом, – раздумчиво произнес он.

Так мы подружались. Было это в октябре.

Чем лучше мы узнавали друг друга, тем больше Нагасава казался мне странным малым. За свою жизнь мне приходилось знакомиться, общаться и расставаться с большим количеством странных людей, но такого странного я видел впервые. Он читал столько, что мне за ним было не угнаться, но брал в руки только книги писателей, после смерти которых прошло больше тридцати лет. И при этом говорил, что верит только таким книгам.

– Не подумай, что я не доверяю современной литературе. Просто не хочу тратить ни минуты на книги, не прошедшие проверку временем. Жизнь коротка.

– Какие авторы тебе нравятся? – спросил я.

– Бальзак, Данте, Джозеф Конрад, Диккенс, – немедленно ответил он.

– Современными их не назовешь.

– Потому и читаю. Будешь читать то же, что остальные, – начнешь думать, как все. А они – сплошь деревенщина, мещане. Приличный человек такой стыдобы не потерпит. Знаешь, Ватанабэ, в этом общежитии только два приличных человека: ты и я. Все остальные – шваль.

– С чего ты это взял?

– Просто знаю, и все. У них на лбу написано. Один взгляд – и сразу все понятно. К тому же, мы оба читаем «Великого Гэтсби».

Я посчитал в уме.

– Но Скотт Фитцджеральд умер лишь двадцать восемь лет назад.

– Какая разница? Из-за двух-то лет... Такому классному писателю можно и простить.

В общежитии никто не знал, что он – тайный почитатель классики. А если бы и узнали, вряд ли обратили внимание. Его, в первую очередь, считали очень умным человеком. Еще бы: без проблем поступил в Токийский университет, получал хорошие оценки, сдал экзамен в МИД и собирался стать дипломатом. Его отец имел в Нагоя крупную клинику, старший брат окончил медицинский факультет Токийского университета, чтобы продолжить дело отца. С виду – идеальная семья. Он всегда получал достаточно денег на карманные расходы, к тому же – выглядел прилично. Поэтому все обращали на него внимание, и даже в общежитии никто не смел ему перечить. Когда он кого-нибудь о чем-либо просил, человек выполнял просьбу безропотно. Иначе и быть не могло.

Был у него некий природный магнетизм, врожденная способность притягивать к себе людей. Он, как бы возвышаясь над остальными, моментально оценивал ситуацию, искусно и убедительно давал окружающим директиву, увлекая их за собой. Все с первого взгляда видели над его головой похожую на ангельский нимб ауру этой силы и с почтением понимали, что он – человек не простой.

Поэтому все жутко удивились, узнав, что такой ничем не приметный парень, как я, был выбран в персональные друзья Нагасавы. Меня зауважали даже те, кого я вообще не знал. Причина такого, несмотря на всю простоту, была им непонятна. Я приглянулся Нагасаве потому, что нисколько перед ним не трепетал и не восхищался им. Я питал к нему интерес, как к личности местами весьма интересной, местами сложной. И мне были совершенно безразличны его успехи в учебе, аура или внешность. Пожалуй, мало кто к нему так относился.

В Нагасаве сочетались несколько диаметрально противоположных особенностей характера. Он был личностью настолько выдающейся, что я сам иногда диву давался, – и при этом оставался человеком по натуре недобрым. Хвастался утонченной душой, а при этом грешил неисправимым мещанством. Он управлял людьми и с оптимизмом двигался вперед, но его сердце одиноко билось в конвульсиях на дне мрачного болота. Я сразу разглядел в нем это противоречие и не мог понять, почему остальные не видят его с этой стороны. Этот человек по-своему стоял одной ногой в аду.

В целом же, можно сказать, мы дружили. Главной его добродетелью была откровенность. Он никогда не лгал и честно признавал собственные ошибки и недостатки. Не пытался скрывать невыгодные для себя моменты. Всегда был вежлив со мной и во всем помогал. Если б не он, моя жизнь в общежитии была бы куда хлопотней и неуютней. Несмотря на это, я ни разу не доверился ему. И в этом смысле, моя дружба с Нагасавой была совершенно иной, нежели с Кидзуки. С тех пор, как Нагасава, изрядно выпив, жестоко обошелся с одной девчонкой, я решил, что не доверюсь этому человеку, что бы ни случилось.

О Нагасаве в общежитии ходило несколько легенд. Первая – что он съел целых три слизняка, другая – что у него огромных размеров пенис, и он переспал с доброй сотней девчонок.

История со слизняками была правдой. Как-то я поинтересовался, и он ответил, что так оно и было:

– Да. Съел три крупных слизняка.

– Зачем?

– Была причина, – ответил он. – Когда я въехал в это общежитие, между первокурсниками и старшими возникла небольшая потасовка. Было это в сентябре. Точно. Я пошел к старшекурсникам разбираться, а они все из «правых», у всех деревянные мечи. В такой обстановке не до переговоров. Вот я и подумал: сделаю все, лишь бы замять дело самому. Так и сказал им: «Давайте договоримся». А они: «Слабо проглотить слизняка»? «Запросто», – говорю. И проглотил. Они откуда-то достали три жирных...

– Ну и как?

– Как-как... Это может понять только тот, кто глотал слизняков... Противно, когда они, проскользнув в горло, стучаются о дно желудка. Слизкие, изо рта вонь. Как вспомню, так вздрогну. Из всех сил сдерживался, чтобы там же не вырвало. Суди сам: выблюй я их перед этими уродами, пришлось бы глотать заново. В конце концов, проглотил все три.

– А потом?

– Разумеется, вернулся к себе, выпил воды с солью, – сказал Нагасава. – А что еще было делать?

– Это точно, – согласился я.

– Но с тех пор никто мне и слова сказать не может. Даже старшекурсники. Еще бы: кто еще может слизняков глотать? Никто.

– Никто, – повторил я.

Проверить размер пениса оказалось проще простого – стоило лишь сходить вместе в баню. Действительно, впечатляющий. Байка о ста девчонках оказалась преувеличением.

– Около семидесяти пяти, – подумав, ответил он. – Точно не помню, но больше семидесяти – это факт.

Я ему:

– А я – только с одной.

Он:

– Слушай, ничего сложного. В следующий раз пойдем со мной. Не бойся, получится.

Тогда я ему не поверил, но на деле все действительно оказалось очень просто. Настолько, что я чуть не разочаровался. Мы с ним заходили в какой-нибудь (как правило, знакомый) бар на Сибуя или Синдзюку, подсаживались к двум симпатичным подружкам (благо мир полон женских парочек), болтали, выпивали, потом шли в гостиницу и занимались сексом. Признаться, Нагасава был классным рассказчиком. Хотя разговоры у нас были, по сути, ни о чем. Когда он говорил, девчонки приходили в восторг, заслушивались, снова и снова отхлебывая из бокала, быстро пьянели и укладывались к нему в постель. Вдобавок ко всему, он был симпатичен, вежлив и внимателен: как только девчонок оказывались в его компании, у них поднималось настроение. Странно, однако, другое. С ним и я сам начинал казаться человеком пленительным. Стоило мне что-нибудь рассказать, и девчонки заслушивались точно так же и так же смеялись, будто говорил не я, а он. Всею причиной была его обаятельность. И каждый раз я ловил себя на мысли, какой у него полезный талант, по сравнению с которым красноречие Кидзуки начинало выглядеть детским лепетом. Совсем иной масштаб. Но даже под воздействием чар Нагасава я нередко вспоминал Кидзуки и как бы в очередной раз убеждался, каким он был честным человеком. Он берег свой скромный талант ради нас с Наоко, а Нагасава разбрасывался им играючи. Он не собирался всерьез спать со всеми этими девчонками. Для него это была только игра.

Мне и самому не очень нравилось спать с незнакомыми. Согласен, то был легкий способ укротить собственное влечение. Мне было приятно с ними обниматься, прикасаться к ним. Противно было одно – утренние расставания. Просыпаешься, а рядом храпит очередная незнакомка, по всей комнате – запах перегара, кровать, лампа, шторы приторных, характерных для лав-отеля[11 - «Лав-отель» (от англ. «гостиница любви») – гарантирующая конфиденциальность специализированная гостиница, где номер снимается на 1-2 часа или на всю ночь.] расцветок, а голова раскалывается с бодуна. Вскоре просыпается она и принимается искать на ощупь нижнее белье. Затем, натягивая колготки, спрашивает: «Ты вчера не забыл надеть эту штуку? У меня сейчас как раз зачетные дни». Ворча, разглядывая себя в зеркале: мол, болит голова и макияж

не получается, – красит губы и накладывает ресницы. Все это было не по мне. Признаться, я бы вообще не оставался в гостинице до утра. Но убалтывать девчонку, помня о закрывающихся в полночь воротах[12 - По сей день существующая в Японии традиция запирает ночью в определенный час ворота или двери.], никуда не годилось (и даже чисто физически это было невозможно), поэтому я всегда брал разрешение на ночлег вне общежития. Таким образом, ничего не оставалось, как дожидаться утра и возвращаться в общагу, проклиная себя и собственные иллюзии. Ослепительно светит в глаза солнце, во рту все ссохлось, на плечах, кажется, чужая голова.

Переспав таким образом три или четыре раза, я поинтересовался у Нагасавы:

– Тебя как, не опустошает? Вот так – семьдесят раз подряд?

– Если ты считаешь, что это должно опустошать, значит, ты не совсем конченный человек. И это радует. В бесконечных походах по женщинам ничего хорошего нет. Только устаешь и начинаешь себя ненавидеть. И я не исключение.

– Почему ты тогда продолжаешь?

– Трудно объяснить. Помнишь, как Достоевский писал об азартных играх. Вот и у меня примерно то же самое. Очень трудно пережить и пройти мимо окружающих тебя возможностей. Понимаешь?

– Ну да.

– Вечереет, на улицы выходят девчонки. Они тусуются, выпивают и требуют «нечто». А я это «нечто» могу им дать. Все очень просто. Как не представляет труда открыть кран с водой, чтобы попить. Раз – и ты уже ее повалил. А ей только того и надо. Это и есть возможность. Разве устоишь, когда они вертятся вокруг? Плюс ко всему, у тебя к этому есть способности и место, где ты можешь их применить. Неужели пройдешь мимо?

– Мне не приходилось бывать в таких ситуациях, поэтому не знаю. Даже представить себе не могу, – отшучивался я.

– В каком-то смысле, это – счастье, – сказал Нагасава.

Причиной тому, что он, мальчик из обеспеченной семьи, жил в общежитии, и было увлечение слабым полом. Отец, беспокоясь, что от жизни взаперти сын, в конце концов, начнет бегать по девкам, настаивал на общежитии. Нагасаве было все равно – он и так особо не обращал внимания на правила. Когда возникало желание, брал разрешение на ночевку в городе и выдвигался на охоту за очередной пассией или шел в гости к какой-нибудь подруге. Разрешение ночевать за пределами общежития было делом хлопотным, однако у него имелся как бы «свободный допуск». Стоило лишь обмолвиться. То же самое распространялось на меня.

У Нагасавы с самого поступления была и настоящая подруга. Они с Хацуми – так ее звали – были ровесниками. Я с ней познакомился. Очень приятная девушка. Не такая красавица, чтобы на нее все заглядывались, можно даже сказать, внешности совершенно обычной, и сначала я даже подумал: что нашел в ней такой человек, как Нагасава? Но стоило заговорить с ней, и никто не мог оставаться равнодушным. Было в ней нечто. Спокойная, смышленная, с чувством юмора, доброжелательная, всегда изысканно одета. Она мне нравилась настолько, что, глядя на нее, я думал: была б у меня такая подруга, наверняка не спал бы с кем попало. Я, видимо, тоже произвел на нее впечатление, и она довольно настойчиво предлагала познакомить меня с кем-нибудь из младшекурсниц, чтобы устроить парное свидание. Но я не хотел повторять ошибок прошлого и под каким-то предлогом отказался. Хацуми училась в женском институте, известном скоплением дочерей мультимиллионеров. Не думаю, что я смог бы общаться с ними на равных.

Она догадывалась о регулярных похождениях Нагасавы, но ни разу за это его не упрекнула. Всем сердцем любила Нагасаву и ничего от него не требовала.

– Я ее не достоин, – говорил Нагасава. И я с ним был полностью согласен.

С наступлением зимы я нашел себе небольшую подработку в музыкальном магазине на Синдзюку. Платили немного, но работа была интересной, и меня устраивало, что достаточно приходить туда три раза в неделю по вечерам. К тому же я мог недорого покупать пластинки. На Рождество я подарил Наоко диск Генри Манчини с песней «Dear Heart», которая ей очень нравилась. Сам упаковал и перевязал его красной тесьмой. А Наоко связала мне шерстяные перчатки. Несколько жали пальцы, но главное – в них было тепло.

– Извини, я такая невнимательная, – покраснела от стыда Наоко.

– Все в порядке. Вот, смотри – помещаются. – Я натянул перчатки.

– Зато теперь ты не будешь засовывать руки в карманы, – сказала Наоко.

Она той зимой не поехала на зимние каникулы в Кобэ. Я тоже работал до самого конца года и как-то сам по себе остался в Токио. Вернись я домой, делать там было бы нечего: видеться я ни с кем не собирался. На каникулах общежитская столовая не работала, и я ходил есть к Наоко. Мы жарили рисовые лепешки, варили незамысловатые супы.

В январе и феврале 1969 года много всего произошло.

В конце января Штурмовик свалился с температурой под сорок. Из-за чего мне пришлось на время забыть о свиданиях с Наоко. Я с трудом достал нам с ней два пригласительных билета на концерт. Ей очень хотелось послушать свою любимую Четвертую симфонию Брамса. Однако Штурмовик метался в постели так, что казалось: он вот-вот коньки отбросит. Естественно, я не мог оставить его в таком положении и пойти на концерт. Найти сиделку не удалось, поэтому другого пути не было – только самому покупать лед, делать холодный компресс, вытирать влажным полотенцем пот, каждый час мерить температуру и даже переодевать его. Температура не спадала целые сутки. Однако уже на второе утро он подскочил и как ни в чем не бывало начал делать утреннюю гимнастику. Сунули градусник – тридцать шесть и два. «Ну не ирод ли?» – подумал я.

– Странно. У меня за всю жизнь ни разу не было температуры, – сказал Штурмовик, будто в этом был виноват я.

– Но ведь появилась, – разозлился я и показал ему два неиспользованных билета.

– Хорошо, что это всего лишь пригласительные, – сказал он. Я хотел было вышвырнуть его радио в окно, но у меня опять заболела голова, и я улегся в постель и уснул.

В феврале несколько раз шел снег.

В конце февраля я из-за какого-то пустяка ударил старшекурсника, жившего на одном этаже со мной. Тот въехал головой в бетонную стену. К счастью, рана оказалась пустяковой, и Нагасава проворно замял дело. Однако меня вызвали в кабинет коменданта и сделали предупреждение, что подпортило мою дальнейшую жизнь в общежитии.

Так закончился учебный год, пришла весна. Я завалил несколько зачетов. По остальным предметам получил свои обычные оценки «С» или «D», было даже несколько «В»[13 - Самой высокой является «А». При оценке «D» получить зачет проблематично. В вузах Японии обязательные зачеты можно не выдержать с первого раза и сдавать в последующие семестры.]. Наоко сдала все зачеты сразу и перешла на второй курс.

В середине апреля Наоко исполнилось двадцать. У меня день рождения – в ноябре, поэтому выходило, что она старше меня на семь месяцев. Двдцатилетие Наоко вызвало у меня странное чувство. Казалось, что нам обоим было бы справедливей перемещаться между восемнадцатью и девятнадцатью: после восемнадцати исполняется девятнадцать, через год – опять восемнадцать... Это еще можно было представить. Но ей уже двадцать. Столько же станет осенью и мне. Только мертвец навсегда остался семнадцатилетним.

В день рождения Наоко шел дождь. После занятий я купил поблизости торт и поехал к ней домой.

– Как-никак, двадцать. Нужно отпраздновать, – предложил я: на ее месте я надеялся бы на то же самое. Проводить двадцатый день рождения в одиночестве казалось мне очень грустным занятием. Электричка была набита битком, к тому же, сильно качало. Когда я добрался до дома Наоко, торт напоминал своей формой развалины римского Колизея. Я достал и воткнул в него двадцать маленьких свечей. Поджег их от спички, закрыл шторы, потушил свет. Как настоящий день рождения. Наоко открыла вино. Мы выпили, разрезали торт.

– Уже двадцать... чувствую себя, как дура, – сказала Наоко. – Я еще не готова к этому возрасту. Странное состояние. Будто бы меня вытолкнули.

– У меня в запасе еще семь месяцев. Хватит, чтобы подготовиться, – рассмеялся я.

– Тебе хорошо – еще девятнадцать, – с завистью сказала Наоко.

За едой я рассказал ей, как Штурмовик купил новый свитер. Прежде свитер у него был один – школьный, темно-синий, и вот наконец Штурмовик решился на второй. Новый был красного и черного цветов с симпатичным вывязанным оленем. Прекрасная вещь, но когда он ее надел и вышел на улицу, все чуть не покатались со смеху. Понять причину такого веселья он не мог.

– Ватанабэ, посмотри, как я выгляжу? – попросил он, сев ко мне в столовой. – Может, что-нибудь на лицо прилипло?

– Ничего там нет. Все в порядке, – ответил я, еле сдерживаясь. – И свитер хороший. У тебя.

– Спасибо, – расплылся в улыбке Штурмовик.

Наоко слушала с интересом.

– Хочу его увидеть. Непременно. Хотя бы разок.

– Нельзя. Ты... будешь смеяться.

– Что, серьезно такой смешной?

– Могу поспорить. Я вижу его каждый день, и сам иногда не могу сдержаться.

Поев, мы вымыли посуду и расположились на полу: слушали музыку и допивали вино. Пока я цедил один бокал, она успела выпить два.

В тот день Наоко была на редкость разговорчива. Рассказывала о детстве, о школе, о своей семье. Долго и отчетливо – будто чертила подробную схему. Я не мог не восхищаться ее памятью, однако начал замечать в ее манере речи некую

странность. Что-то в ней было не так. Неестественно и искаженно. Сами по себе истории казались осмысленными, но подвох крылся в связи между ними. История «А» внезапно переходила в содержащуюся в ней историю «Б». Затем в «Б» возникала история «В» – и так до бесконечности. Первое время я учтиво поддакивал, но вскоре перестал. Поставил пластинку, а когда она закончилась, поменял на следующую. Когда послушали все, что у Наоко было, опять поставил первую. Пластинок оказалось шесть. Цикл начинался с «Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band» и заканчивался диском Билла Эванса «Waltz For Debby». За окном продолжал лить дождь. Время текло медленно, и Наоко продолжала рассказывать.

Неестественность эта объяснялась нежеланием касаться некоторых тем. Одна из которых – естественно, Кидзуки. Но мне показалось, что уклоняется Наоко не только от нее. Лавируя между нежелательными темами, она продолжала бесконечный монолог о пустяках. Но так самозабвенно она говорила на моей памяти впервые, и я давал ей выговориться.

Но когда стрелка на часах перевалила одиннадцать, я не на шутку заволновался: Наоко не замолкала уже больше четырех часов. Мне нужно было успеть на последнюю электричку, к тому же в общежитии закрывали ворота. Я дождался подходящего момента и вклинился.

– Мне уже пора. Скоро последняя электричка, – сказал я, глядя на часы.

Но она, видимо, не услышала меня. А если услышала, то не поняла, о чем речь. На секунду умолкла, и сразу же заговорила снова. Я отчаялся и решил допить вино. Мне казалось, что лучше ее не перебивать. И я решил: будь что будет – электрички, ворота...

Но рассказ Наоко вскоре иссяк сам собой. Когда я обратил на это внимание, она уже молчала. И лишь обрывок фразы остался висеть в воздухе. Если выражаться буквально, ее рассказ не закончился, а куда-то внезапно пропал. Она пыталась его продолжить, но ничего не получалось. Будто бы что-то испортилось. И испортил, скорее всего, я. До нее наконец дошел смысл моих слов: потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить их, а на продолжение истории энергии не хватило. Приоткрыв губы, Наоко отрешенно смотрела мне в глаза. И походила на механизм, которому вдруг отключили электричество. Ее глаза заволокла непрозрачная пленка.

– Я не хотел тебе мешать, – сказал я. – Просто уже поздно. Вот я и подумал...

На глаза ей навернулись слезы. Потекли по щекам, покатались на конверт пластинки. Их уже было никак не остановить. Наоко уперлась руками в пол и, слегка подавшись вперед, будто ее рвало, рыдала. Я впервые видел, чтобы рыдали так сильно. Я протянул руки и взял ее за плечи. Те мелко тряслись, и я машинально обнял ее. Наоко продолжала бесшумно плакать. От слез и ее теплого дыхания моя рубашка промокла насквозь. Ее пальцы бегали по моей спине, словно отыскивая там что-то. Левой рукой я поддерживал девушку, а правой гладил ее прямые мягкие волосы. И долго стоял, ожидая, пока она перестанет плакать. Но она не унималась.

В ту ночь я переспал с Наоко. Я не знал, правильно поступаю или нет. Не знаю даже сейчас – спустя почти двадцать лет. И, пожалуй, не узнаю этого никогда. Но в ту ночь ничего другого не оставалось. Она завелась, она была в панике. Хотела, чтобы я ее успокоил. Я потушил свет, неспешно и нежно раздел ее и разделся сам. Мы обнялись. Теплой дождливой ночью мы не чувствовали холода. Я и Наоко во мраке безмолвно ласкали друг друга. Я целовал ее и гладил руками грудь. Наоко сжимала мой отвердевший пенис. Ее вагина стала горячей и влажной и требовала меня.

Когда я вошел в Наоко, ей стало очень больно.

– Первый раз? – спросил я, и она кивнула. Здесь я перестал что-либо понимать. Я думал, что Наоко все то время спала с Кидзуки. Я ввел пенис как можно глубже и замер, прижимая девушку к себе. Когда она вроде бы успокоилась, я начал медленно двигаться и, не торопясь, кончил. Наоко крепко обхватила мое тело и застонала. То был самый печальный возглас оргазма из тех, что мне прежде доводилось слышать.

Когда все было кончено, я спросил, почему она не спала с Кидзуки. Не следовало этого делать. Наоко отстранилась от меня и опять неслышно заплакала. Я достал из ниши фuton и уложил ее спать. А потом закурил, всматриваясь в ливший за окном апрельский дождь.

К утру дождь прекратился. Наоко спала, повернувшись ко мне спиной. А может, ни на минуту не смыкала глаз. Спала она или нет, но губы ее лишились слов, а тело стало твердым, словно замерзло. Я несколько раз пытался заговорить, но ответа не получил. Она даже не шелохнулась. Какое-то время я всматривался в ее обнаженные плечи, затем отчаялся и встал с постели.

На полу с вечера оставались конверт пластинки и стаканы, винная бутылка и пепельница. На столе – половинка развалившегося торта. Все выглядело так, будто время внезапно остановилось и обездвижело. Я собрал с пола вещи, выпил два стакана воды из-под крана. На столе у Наоко лежали словарь и таблица французских глаголов. К стене перед столом был приклеен календарь. Просто цифры – никаких картинок или фотографий. Белоснежный календарь, без надписей и пометок.

Я подобрал с пола одежду. Спереди рубашка оставалась леденяще влажной. Я сунулся в нее лицом и почувствовал запах Наоко. В лежавшем на столе блокноте написал: «Как успокоишься – позвони. Поговорим спокойно. С днем рождения». Взглянул в последний раз на плечи Наоко, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь.

Прошла неделя, но телефон молчал. В доме Наоко телефонов не было вообще, и в воскресенье я поехал в Кокубундзи. Дома ее не оказалось, и табличка на двери была снята. На окнах – плотно закрытые ставни. Я спросил у консьержа: оказалось, Наоко три дня как переехала. Куда, он не знал.

Вернувшись в общежитие, я написал длинное письмо на адрес ее родителей. Куда бы она ни уехала, письмо ей должны были переслать.

Я откровенно описал все, что чувствовал.

Мне многое до сих пор не понятно, я пытаюсь изо всех сил все это осознать, но потребуется время. Где я буду спустя это время, даже не могу себе представить. Поэтому я ничего не могу тебе обещать, не могу разбрасываться красивыми словами и ничего от тебя не требую. Мы слишком мало знаем друг друга. Но если ты дашь мне срок, я сделаю все, и мы станем ближе друг к другу. Я хочу еще раз встретиться с тобой и спокойно поговорить. Потеряв Кидзуки, я утратил собеседника, с которым мог откровенно делиться своим настроением. Думаю, то

же самое можно сказать и о тебе. Пожалуй, мы нуждались друг в друге даже больше, чем думали сами. Из-за этого мы сделали большой крюк, и в каком-то смысле все исказилось. Может, я не должен был так поступать. Но иного выбора не оставалось. И то тепло и близость, что я тогда к тебе испытал, мне до сих пор не приходилось испытывать ни разу. Хочу, чтобы ты ответила. Каким бы ни был твой ответ.

Ответа не последовало.

Внутри у меня что-то обвалилось да так и осталось – невосполнимой зияющей пустотой. Тело стало неестественно легким, звуки – полыми. В будние дни я чаще, чем раньше, ходил на занятия и лекции. Там было скучно, с однокашниками разговаривать не приходилось, и делать там больше мне было нечего. В аудитории я садился один на крайнее место в первом ряду, слушал лекции, ни с кем не общаясь, в одиночестве обедал. Я бросил курить.

В конце мая в институте началась забастовка. Народ требовал «снести институт». «Хорошо, хотите снести – сносите, – думал я. – Разберите его по частям, истопчите ногами, сотрите в порошок. Плевать. Мне от этого только легче станет. Что потом делать – как-нибудь разберусь сам. Нужна помощь – могу и помочь. Давайте, начали».

Институт закрыли, лекции прекратились. Я начал подрабатывать в транспортной компании: ездил на пассажирском месте в грузовике и таскал туда-сюда грузы. Работа оказалась труднее, чем я предполагал. Первое время ныло все тело, и я с трудом вставал по утрам. Зато хорошо платили, я был занят работой и мог не думать о поселившейся внутри пустоте. Пять дней в неделю я подрабатывал экспедитором, три вечера сидел в музыкальном магазине. В свободные вечера, попивая виски, валялся дома и читал. Штурмовик не пил и даже не выносил запаха алкоголя. Стоило мне развалиться на кровати со стаканом виски, он начинал жаловаться, что не может в таких условиях делать уроки, и просил выпивать где-нибудь в другом месте.

– Сам иди, – сказал я.

– Но ведь в общежитии нельзя распивать алкоголь. Это же пра-пра-правило.

– Сам иди, – повторил я.

Больше он ничего не сказал. Мне стало противно, я вылез на крышу и напился там в одиночестве.

В июне я написал Наоко еще одно длинное письмо и отправил, как и в прошлый раз, на адрес ее родителей в Кобэ. Содержанием оно почти не отличалось от первого. Я только дописал: «Тяжко ждать ответ. Я хочу знать хотя бы одно: я тебя обидел или нет». Сбросив письмо в ящик, я почувствовал, как пустота в моем сердце стала еще глубже.

В июне я пару раз съездил с Нагасавой в город и переспал с девчонками. Причем, оба раза все вышло очень просто. Правда, одна девчонка устроила истерику, когда я затащил ее в постель и начал раздевать. Пыталась сопротивляться, но я и не собирался ее уговаривать, а лег в постель и открыл книгу. Вскоре она сама прильнула ко мне. Другая после секса захотела побольше обо мне узнать. Со сколькими девчонками я уже переспал, откуда родом, где учусь, какую люблю музыку, читал ли романы Осаму Дадзаи[14 - Осаму Дадзаи (1909–1948) – японский писатель-декадент, отразивший настроения отчаяния в послевоенной Японии.], куда хотел бы съездить, не считаю ли я, что ее грудь несколько больше, чем у других... ну и в том же духе. Я отвечал, покуда хватало сил, а затем уснул. Когда проснулся, она заявила, что хочет со мной позавтракать. Мы зашли в кафе, съели пресный тост и омлет, запивая жутким на вкус кофе. И она не переставала задавать мне вопросы: кем работает мой отец, какие у меня были оценки в школе, когда у меня день рождения, приходилось ли есть лягушек и так далее. От ее болтовни у меня разболелась голова, и сразу после еды я сказал, что мне пора на работу.

– Мы еще увидимся? – уныло спросила она.

– Может, где-нибудь когда-нибудь и увидимся, – ответил я, и мы расстались.

Оставшись один, я подумал: что же такое я делаю? Я не должен был так поступать, но просто не мог себя сдержать. Тело мое изголодалось, оно жаждало секса, требовало женщин. Я спал с ними, а сам все время думал о Наоко. Бледно всплывало в мраке памяти ее нагое тело, ее дыхание, шелест дождя. И чем больше я о ней думал, тем сильнее становились голод и жажда. Тогда я шел на крышу, пил виски и пытался понять, куда меня несет.

В начале июля Наоко прислала короткое письмо.

Я долго не писала – извини. И пойми. Прошло немало времени, прежде чем я оказалась в состоянии написать. И переписываю это письмо уже в десятый раз. Нелегко мне даются письма.

Начну с конца. Я взяла академический отпуск на год. Хотя, как мне кажется, обратно я уже не вернусь. И академ – не более чем формальность. Для тебя такой поворот событий может показаться внезапным, но я уже давно думала об этом. Несколько раз хотела поделиться с тобой, но все никак не решалась сказать. Мне было страшно это произносить.

Но ты не принимай все это близко к сердцу. Так или иначе, все к тому шло. Не хотелось, чтобы мои слова тебя обидели. Если все-таки обидели – прости. Я просто хочу попросить тебя не винить себя за то, что со мной произошло. Расплачиваться за все должна только я сама. Весь этот год я лишь пыталась до последнего оттянуть неминуемое. И тем самым причинила тебе немало беспокойств. Но всему есть предел.

Съехав с квартиры в Кокубундзи, я вернулась в Кобэ к родителям и лечилась в больнице. Врач рассказал мне об одном подходящем для меня санатории в горах Киото, и я решила провести там некоторое время. Это не больница в прямом смысле слова, а такое заведение, которое можно посещать свободно, для адаптации. Подробно я опишу его тебе как-нибудь в следующий раз. Пока я еще пишу с трудом. Сейчас мне необходимо успокоить нервы в тихом месте, огражденном от внешнего мира.

Спасибо тебе за тот год, что ты провел рядом со мной. Поверь, не ты виновен в моих бедах. Я считаю, что виновата сама.

Сейчас я еще не готова ко встрече с тобой. Не подумай, что я не хочу тебя видеть. Просто не готова – и все. Но как только я смогу, сразу тебе напишу. И тогда мы сможем лучше узнать друг друга. Ты правильно сказал: мы действительно должны лучше узнать друг друга.

До свидания.

Я раз сто перечитал письмо, и с каждым разом мне становилось невыносимо грустно. Примерно то же я испытывал, когда Наоко заглядывала в мои глаза. Я не мог ни выплеснуть эти чувства, ни хранить их в себе. Они были невесомы и бесформенны, как проносящийся мимо ветер. Я не мог примерить их на себя. Мимо медленно проплывал пейзаж. До меня не доносилось ни слова.

В субботу я, как и прежде, проводил время, сидя на стуле в коридоре. Звонка я ни от кого не ждал, но делать было совершенно нечего. Я включил прямую трансляцию бейсбольного матча, и делал вид, будто смотрю телевизор. Постепенно чувства эти словно пеленой разделили пространство между мной и телевизором, потом отсекали от него еще одну часть, за ней еще одну. Снова и снова – в конце концов, они стиснули меня, едва не касаясь моих рук.

В десять часов я выключил телевизор и пошел спать.

В конце того месяца Штурмовик подарил мне светлячка.

Светлячок сидел в кофейной банке. В нее Штурмовик налил немного воды и насыпал листьев. В крышке имелись мелкие прорези для воздуха. На улице было светло, и существо походило на обычного черного водяного жучка. Однако Штурмовик утверждал, что это, бесспорно, светлячок:

– Я о них читал.

У меня не было ни причин, ни оснований сомневаться:

– Хорошо, пусть будет светлячком. Только он какой-то сонный.

При каждой попытке выбраться наружу, насекомое скользило по стенке и съезжало на дно банки.

– Во дворе нашел.

– В этом? – удивился я.

– А ты разве не знал? В соседней гостинице для привлечения постояльцев каждое лето выпускают светлячков. Вот один и добрался сюда. – Штурмовик укладывал в сумку одежду и тетради.

С начала лета прошло несколько недель, и в общежитии оставались, пожалуй, только мы вдвоем. Я не хотел возвращаться в Кобэ и продолжал работать. Штурмовик проходил практику. Но теперь практика закончилась, и он собирался домой, в Яманаси[15 - Префектура, граничащая с западной частью Токийской метрополии.].

– Можно подарить его какой-нибудь девчонке. Наверняка будет рада.

– Спасибо, – поблагодарил я.

С заходом солнца общежитие погрузилось в тишину. Казалось, оно вообще превратилось в руины. С флагштока спустили флаг, из окон столовой лился свет. Студенты разъехались по домам, поэтому освещалась только половина зала – левая, а в правой было темно. Но едой все же пахло. На ужин приготовили тушеное мясо.

Я взял банку со светлячком и поднялся на крышу. Там никого не было, лишь на веревке сушилась кем-то забытая белая рубашка, которую вечерний ветерок раскачивал, как сброшенный кокон. Я взобрался по приставной лестнице еще выше, на водонапорную башню. Круглый бак хранил тепло солнечного дня. Я присел на тесной площадке, облокотился на перила, и на мгновение увидел прятавшуюся в облаках луну. По правую руку виднелись огни Синдзюку, по левую – Икэбукуро[16 - Синдзюку и Икэбукуро – кварталы, прилегающие к двум одноименным крупным узловым станциям на кольцевой линии «Яманотэ» железнодорожной сети «Джапэн Рэйлроуд» в Токио.]. Лучи автомобильных фар слились в яркую реку света, и она перетекала из одного квартала к другому. Различные звуки мешались в мягкий рокот, тучей нависавший над городом.

На дне банки едва различимо мерцал светлячок. Но свет его был слабым, цвет – бледным. Давно я не видел светлячков, но на моей памяти они светились под покровом летней ночи куда более отчетливо и ярко. Я задумался о том, что придает яркость их свечению.

Может, этот светлячок ослаб и умирает? Я взял банку за горлышко и слегка потряс. Светлячок ударился о стеклянную стенку и слегка подлетел. Но лучше светить не стал.

Я попытался вспомнить, когда в последний раз видел светлячков. И где? Ну же... И в памяти всплыл тот свет. Но где и когда это было, я припомнить не мог. Из ночной темноты донесся всплеск воды. Еще там был старый кирпичный шлюз. В действие его приводил ворот. Река, но не слишком большая, течение медленное, почти вся поверхность заросла ряской. Вокруг темно: если выключить фонарик, не видно даже собственных ног. И над заводью шлюза летают сотни светлячков. Их свет отражается от воды, будто огненная пыльца.

Я закрыл глаза и погрузился во мрак памяти. Ветер дул резче. Вроде бы не сильный, но траектория его была удивительно ярка. А когда я открыл глаза, темнота летней ночи стала еще гуще.

Я открыл крышку, достал светлячка и посадил его на травинку, пробившуюся у основания водонапорной башни. Светлячок долго не мог понять, что его окружает. Он копошился вокруг болта, забегал на струпья сухой краски. Сначала двигался вправо, но когда понял, что там тупик, повернул влево. Затем неторопливо взобрался на головку болта и как бы присел на корточки. Словно испустив дух, светлячок замер неподвижно.

Я следил за ним, откинувшись на перила. И долгое время ни я, ни он не шевелились, только ветер обдувал нас. Миллиарды листьев дзельквы шуршали друг другу в темноте.

Я был готов ждать до бесконечности.

Светлячок улетел не сразу. Будто о чем-то вспомнив, он внезапно расправил крылья и в следующее мгновение мелькнул над перилами и растворился в густом мраке. Словно пытаюсь нагнать упущенное время, начал спешно вычерчивать дугу возле башни. И дождавшись, когда полоска света растворится в ветре, улетел на восток.

Светлячок исчез, но во мне еще долго жила дуга его света. В толще мрака едва заметное бледное мерцание мельтешило, словно заблудшая душа.

Я тянул во тьме руку, но ни к чему не мог прикоснуться. Чуть-чуть не дотягивался до тусклого мерцания.

Глава 4

На летних каникулах институт вызвал спецназ, который снес баррикады и арестовал всех засевших за ними студентов. Тогда многие вузы прибегали к подобным мерам, и это вовсе не считалось делом неслыханным. Институты при этом не расформировывали. В них вкладывали немало средств, и после незначительных студенческих волнений руководство вряд ли сказало бы: «Ну что ж, ладно», – и самораспустилось. К тому же, обложившие наш институт баррикадами студенты вряд ли вообще хотели его распускать. Им лишь хотелось перехватить инициативу. Лично мне было абсолютно все равно, что произойдет с этой самой инициативой. И я не испытывал никаких эмоций, когда забастовку все-таки разогнали.

В сентябре я пошел посмотреть на институт, ожидая увидеть руины, но он нисколько не пострадал. Ни разграбленной библиотеки, ни разгромленных кабинетов преподавателей, ни сгоревшего студенческого корпуса. Я в изумлении думал: «Чем же они тут занимались?»

Бунтовщиков утомили, после вторжения спецназа возобновились лекции, и первыми же на них пришли сами зачинщики. Они как ни в чем не бывало посещали занятия, вели конспекты, когда их вызывали – отвечали. Странная история. Ведь объявленное ими решение о забастовке оставалось в силе, ибо никто не объявил о ее завершении. Институт лишь ввел спецназ, который разрушил баррикады, поэтому забастовка, в принципе, продолжалась. Сотрясая воздух громкими словами, зачинщики эти осуждали студентов, не согласных с забастовкой, и даже подвергали их гонениям. Я поинтересовался, почему же они теперь не продолжают бастовать, но вразумительного ответа не добился. Им нечего было сказать. Они боялись не получить зачетов из-за пропуска занятий, и самое забавное, что они же призывали к роспуску института. Их голос то крепчал, то хирел, смотря откуда дул ветер.

«Эй, Кидзуки, здесь – жуткий мир», – думал я. Эти придурки получают зачеты, выходят в люди и строят общество подлецов.

Я решил некоторое время посещать занятия, но не отзываться на переключке. При этом я понимал всю бессмысленность такого решения, но ничего с собой поделаться не мог. Однако по этой самой причине в группе мне стало еще более одиноко. Когда я молчал, не откликаясь на свою фамилию, в аудитории сгущался воздух. Никто со мной не разговаривал, да и я ни к кому не обращался.

Началась вторая неделя сентября, и я пришел к выводу, что обучение в институте – занятие совершенно бессмысленное. Я решил несколько дней тренировать в себе выносливость к скуке. Брось я сейчас институт, выйди в люди – и что? Никаких особых планов у меня не было. Поэтому я ежедневно ходил на занятия, конспектировал лекции, а в свободное время шел в библиотеку, читал книги, искал необходимые материалы.

Началась вторая неделя сентября, а Штурмовик так и не возвращался. Не просто редкое явление, а событие воистину потрясающее. Занятия в его институте уже начались, и трудно было представить, что он способен их пропустить. Его стол и радио покрылись толстым слоем пыли. На полке чинно выстроились пластмассовый стакан и зубная щетка, банка с чаем и средство от насекомых.

Я решил сам прибираться в комнате, пока не вернется Штурмовик. За полтора года чистота в комнате вошла в привычку, и теперь ничего не оставалось, как поддерживать ее и без Штурмовика. Я каждый день подметал пол, раз в три дня мыл окна, раз в неделю сушил матрас и ждал, когда Штурмовик вернется и похвалит меня: «Ва-ватанабэ, что с тобой? Откуда такая чистота?»

Но он не вернулся. Однажды я пришел с занятий, а его вещей в комнате не оказалось. С двери сняли табличку с его именем, осталась одна моя. Тогда я пошел к коменданту узнать, что произошло со Штурмовиком.

– Съехал, – ответил комендант. – Так что живи пока один.

– А в чем дело? – поинтересовался было я, но комендант ничего не ответил. Такие типы испытывают безграничную радость от единовластного контроля, не утруждая себя объяснениями.

На стене еще какое-то время висела фотография айсберга, но вскоре я содрал ее и наклеил постеры Джима Моррисона и Майлза Дэвиса. Так комната стала слегка походить на мою обитель. На скопленные деньги я купил небольшой стереопроектор. Вечерами, выпивая, слушал музыку. Иногда вспоминал Штурмовика, но на жизнь в одиночестве при этом не сетовал.

В понедельник с десяти утра у меня была лекция о Еврипиде из курса «История театра II», и закончилась она в полдвенадцатого. После лекции я отправился в ресторанчик – десять минут ходьбы от института. Там заказал омлет с рисом и салат. Ресторан располагался в стороне от шумной улицы. Цены здесь несколько выше, чем в институтской столовой, зато тихо и спокойно. Омлет с рисом оказался очень даже ничего. Держали ресторан молчаливые супруги, у которых подрабатывала девушка. Пока я, сидя за столом у окна, поглощал свой обед, зашла студенческая компания: два парня и две девчонки, все опрятно одеты. Уселись у входа и, рассматривая меню, принялись обсуждать заказ. Вскоре один подозвал девушку и заказал на всех.

Тем временем я обратил внимание, что одна студентка посматривает на меня. С очень короткой прической, в темных очках, одета в белое мини-платье из хлопка. Лицо незнакомое. Я продолжал есть, но она встала и подошла ко мне. Положив руку на стол, назвала меня по имени:

– Ты же... Ватанабэ?

Я поднял глаза и внимательно всмотрелся в нее. Но припомнить все равно не смог. Хотя девушка симпатичная, если бы я раньше с ней где-нибудь встречался, то теперь наверняка бы вспомнил. К тому же, мало кто в этом институте знал меня по фамилии.

– Можно присесть? Или кто-нибудь придет... сюда?

Я, по-прежнему ничего не понимая, кивнул: «Никто не придет. Пожалуйста».

Она с грохотом выдвинула стул, села напротив, уставилась из-за своих солнечных очков, а затем перевела взгляд на мою тарелку.

– По виду объединение.

– Точно. Вкусно. Омлет с грибами и салат с зеленым горошком.

– А-а, – протянула она. – Закажу в следующий раз. Сегодня уже поздно.

– И что ты выбрала?

– Гратин из макарон.

– Тоже неплохо, – сказал я. – Кстати, где мы с тобой встречались? Никак не могу припомнить.

– Еврипид, – кратко ответила она. – «Электра». «Нет, боги не желают слышать печальных новостей». Только что закончилась лекция.

Я вгляделся пристальнее. Она сняла очки, и тут я наконец-то вспомнил, что действительно видел ее – первокурсницу – на лекции «История театра II». Но узнал не сразу – у нее сильно изменилась прическа.

– До каникул у тебя волосы были вот такой длины, – показал я рукой ниже плеча на добрый десяток сантиметров.

– Да. Решила сделать химию. Каким-то жутким составом. Вот и пришлось... Даже думала покончить с собой. Нет, я серьезно – такой мерзкий был вид. Как утопленница с водорослями на голове. Но чем умирать, решила, что лучше постричься наголо. Голове прохладно, но это ничего. – И она, погладив отросшие на четыре-пять сантиметров волосы, озорно улыбнулась мне.

– Совсем неплохо выглядишь, – заметил я, доедая омлет. – Ну-ка, повернись боком.

Она повернулась в профиль и замерла секунд на пять.

– Тебе идет. Голова правильной формы. И уши смотрятся симпатично.

– Точно. Это я сама знаю. Как постриглась, подумала: а почему бы и нет? Правда, ни один парень мне об этом не сказал. От них только и слышишь: «прямо первоклассница» или «как из концлагеря». Слушай, а почему парням нравятся девчонки с длинными волосами? Это же чистый фашизм вообще. Почему они думают, что все длинноволосые – непременно воспитанные, нежные и женственные? Я знаю двести пятьдесят пошлых длинноволосых девиц. Нет, правда.

– Ты мне больше нравишься как сейчас, – сказал я. И это была правда. С длинными волосами, насколько я помнил, она казалась мне обычной хорошенькой девчонкой. А теперь жизнь так и была из нее – она походила на выпорхнувшую из гнезда весеннюю птицу. Глаза ее жили на лице отдельно: радовались, смеялись, сердились, изумлялись и смиряться. Я давно не видел настолько живого лица и разглядывал его с восхищением.

– Ты серьезно?

Я кивнул, не отрываясь от салата.

Она снова надела очки и посмотрела на меня сквозь черные стекла.

– Слушай, ты же не врешь, правда?

– Ну, стараюсь быть честным человеком.

– Хм.

– А почему ты носишь такие темные очки? – спросил я.

– Без волос мне вдруг стало очень неудобно. Будто меня голой выбросили в толпу. Никак не могла успокоиться, и стала носить очки.

– Вон в чем дело, – сказал я. Она с интересом следила за тем, как я доедаю омлет. – Тебя там не потеряют? – спросил я, показав на ее спутников.

– В общем-то, нет. Принесут еду – вернусь. Может, я мешаю тебе есть?

– Так ведь я уже доел, – сказал я и, видя, что она не собирается возвращаться за свой столик, заказал кофе. Хозяйка унесла тарелки и поставила мне сахар и сливки.

– А почему ты на лекции не отозвался на перекличке? Твоя же фамилия – Ватанабэ? Ватанабэ Тоору.

– Да.

– Тогда почему ты промолчал?

– Сегодня не хотелось отвечать.

Она сняла очки, положила их на стол и впилась в меня взглядом, будто заглядывая в клетку с редкими животными.

– «Сегодня не хотелось отвечать», – повторила она. – Ты говоришь, как Хамфри Богарт. Спокойно и уверенно.

– Да ну? Я обычный. Таких, как я – пруд пруди.

Хозяйка принесла мне кофе. Сахар и сливки я добавлять не стал, а принялся отхлебывать его мелкими глотками.

– Ого. Ты тоже пьешь без сахара и сливок.

– Просто не люблю сладкое. Ты меня с кем-то путаешь.

– Почему ты такой загорелый?

– Две недели путешествовал пешком. То там, то здесь. Брал с собой рюкзак и спальник. Вот и загорел.

– И где бывал?

– От Канадзавы до полуострова Ното, и дальше до Ниигаты.

– Один?

– Да, – ответил я. – Но иногда случались попутчики.

– Как романтично. Познакомиться в пути с девчонкой...

– Романтично? – воскликнул я. – Слушай, ты явно заблуждаешься. Где и как может человек со спальником за спиной и густой щетиной попасть в романтическую ситуацию?

– А ты всегда путешествуешь один?

– Да.

– Любишь одиночество? – спросила она, подпирая руками щеки. – В одиночку путешествуешь, в одиночку ешь, сидишь на занятиях в стороне от всех.

– Я не люблю одиночество. Просто не завожу лишних знакомств, – сказал я. – Чтобы в людях лишний раз не разочаровываться.

Она зажала зубами дужку очков и сухо повторила:

– «Я не люблю одиночество. Просто не терплю разочарований». Когда соберешься писать мемуары, реплика придется кстати.

– Спасибо.

– Любишь зеленый цвет?

– С чего ты взяла?

– На тебе зеленая тенниска. Потому и спрашиваю, любишь зеленый или как?

– Да, в общем-то, нет. Мне все равно.

– «Да, в общем-то, нет. Мне все равно», – опять повторила она мои слова. – Мне очень нравится, как ты говоришь. Будто красиво штукатуришь стену. Кто-нибудь тебе говорил? Такое?

– Нет, – ответил я.

– Меня зовут Мидори[17 - Мидори – по-японски «зеленый, зелень»]. Но зеленый цвет совсем не к лицу. Странно, да? Тебе не кажется, что это несправедливо? Словно проклята на всю жизнь... Знаешь, мою старшую сестру зовут Момоко. Чудное имя, правда?

– И ей идет розовый[18 - Моко – по-японски «персик», розовый цвет.]?

– Еще как. Будто рождена носить все розовое. Видишь, какая несправедливость?

На ее стол принесли еду, и парень в полосатом пиджаке позвал:

– Эй, Мидори, иди есть.

Она повернулась и жестом показала, что поняла.

– Слушай, ты лекции конспектируешь? По «Истории театра II»?

– Да, а что?

– Будь другом, дай списать? Я пропустила две, а в той группе у меня знакомых больше нет.

– Бери, конечно. – Я достал из сумки тетрадь, проверил, нет ли там лишних записей, и передал Мидори.

– Спасибо. Ватанабэ, а ты послезавтра пойдешь в институт?

– Пойду.

– Тогда приходи сюда в двенадцать. Верну тетрадь, заодно угощу тебя обедом. Пищеварение не расстроится, если будешь есть не один?

– С какой стати? – сказал я. – Только не нужно благодарностей. За какой-то конспект.

– Ладно тебе. Я люблю благодарить людей. Ну как, идет? Ты не записал. Не забудешь?

– Не забуду. Послезавтра в двенадцать встречаемся с тобой здесь.

Из-за спины раздалось:

– Эй, иди скорей, а то все остынет.

– Ты давно научился так говорить? – не реагируя на зов, спросила Мидори.

– Наверное, да. Я сам не обращал на это внимания, – ответил я. И действительно, она сказала мне об этом первой.

Мидори о чем-то задумалась, но вскоре улыбнулась, встала и пошла за свой стол. Когда я проходил мимо, она помахала мне. Остальные трое лишь скользнули по мне взглядами.

В среду в двенадцать Мидори в ресторане не появилась. До ее прихода я решил выпить пива, но рестораник начал заполняться публикой, и пришлось заказать еду и поесть одному. Когда я закончил, было уже двенадцать тридцать пять, но она так и не пришла. Я расплатился, вышел на улицу и сел на каменную лестницу к маленькому храму, чтобы развеять пивной хмель, а заодно подождать Мидори до часу, но все было тщетно. Так и не дождавшись, я вернулся в институт, почитал в библиотеке книгу, а в два часа пошел на семинар по немецкому.

После занятий зашел в учебный отдел, проверил журнал посещаемости и нашел в группе «История театра II» ее имя. Студентка по имени Мидори была только одна – Мидори Кобаяси. Затем я нашел в картотеке студентов 1969 года

поступления карточку на имя «Кобаяси Мидори» и записал ее адрес и номер телефона. Она жила в районе Тосима, в частном доме. Я пошел к автомату и набрал номер.

– Алло, «Книжный магазин Кобаяси».

– Извините, можно позвать Мидори?

– Нет, ее сейчас нет.

– Она в институте?

– Кажется, в больнице. А кто говорит?

Я, не называя себя, вежливо попрощался и повесил трубку. В больнице? У нее травма? Или заболела? Однако в мужском голосе не чувствовалось тревоги: «Кажется, в больнице». Такой тон, будто больница – часть ее жизни. Прозвучало непринужденно, вроде «пошла за рыбой в лавку». Я задумался, но потом все надоело, и я вернулся в общагу и завалился на кровать с «Лордом Джимом» Джозефа Конрада, которого накануне взял почитать у Нагасава. Дочитав последние главы, я пошел вернуть ему книгу.

Нагасава как раз собирался идти на ужин, и я составил ему компанию.

– Ну и как МИДовский экзамен? – поинтересовался я. В августе проводилась вторая ступень экзамена на высший разряд в МИД.

– Обычно, – ответил Нагасава как ни в чем не бывало. – Сдается очень просто. Коллективная дискуссия или там собеседование... девчонку прибалтываешь точно так же.

– Ну то есть, все в порядке? – спросил я. – А когда результаты?

– В начале октября. Если пройду, с меня ресторан.

– Интересно, что это такое – «вторая ступень экзамена на высший разряд в МИД»? Наверное, все такие же умные, как и ты?

– Ерунда. Почти все – болваны. А если не болваны, то дегенераты. Девяносто пять процентов стремящихся стать чиновниками – отребье. Я не вру. Они читать-то толком не умеют.

– Тогда зачем ты поступаешь в МИД?

– По разным причинам, – ответил Нагасава. – Например, мне нравится работа за границей и так далее. Но самое главное – я хочу проверить свои силы. А если проверять, то на высшем уровне. Ну, то есть, на государственном. Докуда я смогу подняться в таком огромном чиновничьем аппарате, как МИД. На что у меня хватит сил. Понимаешь?

– Со стороны похоже на игру.

– Это игра и есть. У меня нет стремления к власти или деньгам. Нет, правда. Может, конечно, я ничтожный и своенравный, но не так, чтобы очень. Как говорится, я – сама беспристрастность и бескорыстие. При этом, человек любопытный. И хочу попробовать на зуб этот бескрайний и жестокий мир.

– И у тебя нет идеалов?

– Куда там? – воскликнул он. – Они и по жизни-то не нужны. Ведь требуются не идеалы, а норма действий.

– Но многие живут иначе, – возразил я.

– Тебе не нравится жить, как я?

– Да при чем тут? – запротестовал я. – Ни то и ни другое. Ведь так? Это не я поступаю в Токийский университет. Не я сплю с понравившимися девчонками, когда заблагорассудится. Не у меня подвешен язык. Не на меня все обращают внимание. У меня и девчонки своей даже нет. О чем можно мечтать, окончив филфак второсортного частного института? Что ты на это скажешь?

– То есть, ты завидуешь моей жизни?

– Нет, не завидую, – ответил я. – Я для этого слишком привык к себе. И, если честно, мне безразличны и Токийский университет, и МИД. Я завидую тебе только в одном: что у тебя такая классная подруга – Хацуми.

Он какое-то время ел молча.

– Знаешь, Ватанабэ, – заговорил Нагасава после еды, – мне кажется, мы с тобой где-нибудь встретимся лет этак через десять-двадцать. Что-то сведет нас вместе...

– Ну, ты прямо по Диккенсу говоришь. – Меня даже смех разобрал.

– Точно, – засмеялся и он. – Однако мои предчувствия часто сбываются.

После еды мы пошли чего-нибудь выпить в соседний бар. И просидели там до девяти вечера.

– Скажи, а какая у тебя норма действий? – спросил я.

– Ты что, шутишь?

– Не шучу. Мне интересно.

– Быть джентльменом.

Я не засмеялся, но чуть не упал со стула.

– Джентльменом – в смысле, как те джентльмены?

– Именно. Те джентльмены.

– А что это значит – быть джентльменом? Расскажи, если есть какие-нибудь правила.

– Делать не то, что тебе хочется, а то, что ты должен.

– Ты – самый странный человек из всех, кого я встречал до сих пор.

– А ты – самый серьезный из всех, кого встречал я, – сказал он и сам заплатил по счету.

В следующий понедельник на лекции «История театра II» Мидори опять не оказалось. Я окинул взглядом аудиторию и, убедившись, что ее нигде нет, сел на первый ряд и до прихода преподавателя решил написать письмо Наоко. Описал свои путешествия в летние каникулы. Дороги, по которым ходил; города, которые оставлял позади; людей, которых встречал.

...И как становилось грустно по вечерам, – писал я. – Без тебя, я понял, как ты мне нужна. В институте – беспредельная скука, но я посещаю занятия – для самотренировки. Без тебя мне все, что ни делаю, кажется ничтожным. Хочу скорее встретиться с тобой и обо всем не спеша поговорить. Хотя бы на несколько часов приехать к тебе в санаторий. Это возможно? Если да, то мне хочется, как и прежде, погулять рядом с тобой. Если не трудно, напиши хоть несколько строк.

Закончив это короткое письмо, я аккуратно сложил четыре листка в заранее приготовленный конверт и вписал адрес родителей Наоко.

Вскоре пришел угрюмый низенький преподаватель, проверил посещаемость и промокнул платком пот на лбу. Он хромал и всегда опирался на металлическую трость. «Историю театра II» нельзя было назвать интересным предметом, но прослушать курс лекций стоило.

– Да, по-прежнему жарко, – сказал препод и начал рассказ о роли «бога из машины» в драме Еврипида. И чем отличаются боги Еврипида от богов у Эсхила и Софокла. Через пятнадцать минут дверь аудитории отворилась и вошла Мидори. На ней была темно-синяя спортивная майка и кремовые хлопковые брюки. На лице – те же темные очки. Она улыбнулась преподавателю: мол, вы же не сердитесь, что я опоздала? – и уселась рядом со мной. Достала из сумочки конспект и протянула мне. В тетрадь была вложена записка «Извини за среду. Обиделся?»

Прошла примерно половина лекции, преподаватель чертил на доске схему устройства сцены греческого театра. Опять отворилась дверь, и вошли два студента в шлемах. Как пара комиков. Один – худой и бледный верзила, другой – коротышка с круглым землистым лицом и нелепой бородкой. Долговязый держал в руках агитационные листовки, а круглолицый подошел к преподавателю, заявил, что хочет устроить дискуссию и предложил закончить лекцию:

– Современный мир распирают проблемы серьезней греческих трагедий.

Это было не требование, а обычное предупреждение.

– Я не считаю, что в современном мире существуют проблемы глубже греческих трагедий, но спорить с вами бесполезно, поэтому поступайте, как заблагорассудится, – ответил преподаватель, крепко схватился за крышку стола, спустился с кафедры, взял трость и, прихрамывая, вышел из аудитории.

Пока долговязый раздавал листовки, круглолицый взобрался на кафедру и начал речь. Листовки были написаны телеграфно, примитивно, никакого стиля: «Упразднить мошеннические выборы ректора», «Сплотить силы для новой всеобщей забастовки», «Вбить клин в имперский образовательно-индустриальный комплекс». Сама по себе доктрина великолепна, ее содержание – неоспоримо, но в тексте отсутствовала убедительность. А без доверия разве можно увлечь за собой сердца? Да и речь круглолицего не блистала новизной. Все та же старая песня: та же мелодия, только в словах падежи перепутаны. Я подумал: истинный враг этих людей – не государственная власть, а отсутствие воображения.

– Пойдем отсюда, – предложила Мидори.

Я кивнул, и мы двинулись к выходу. Круглолицый что-то сказал, но я не расслышал, а Мидори лишь сделала ему ручкой: пока, мол.

– Мы, наверное, – контрреволюционеры, – сказала Мидори, когда мы вышли из аудитории. – Грянет революция, и нас повесят в ряд на фонарных столбах.

– Пока не повесили, неплохо бы пообедать.

– Точно. Не совсем рядом, но есть тут один ресторан, куда я хочу тебя сводить. У тебя как со временем?

– Нормально. Все равно до двух делать нечего.

Мы сели в автобус и доехали до глухого отдаленного квартала в Йоцуя. Мидори привела меня в небольшое заведение: там подавали бэнто[19 - Бэнто – традиционный комплексный обед в коробке.]. Мы сели за стол, и нам сразу же принесли два лакированных подноса с комплексом сегодняшнего дня и супом. Действительно, стоило ехать.

– Вкусно.

– Ага. И при этом достаточно дешево. Я изредка приходила сюда обедать, когда училась в старшей школе. Знаешь, она ведь рядом. Очень строгая школа. Мы ходили обедать сюда тайком. Застукай нас кто-нибудь из преподавов, могло бы дойти до исключения.

Мидори сняла очки: глаза ее покраснели и припухли. В прошлый раз такого не было. Она поправила серебряный браслет на левом запястье и потеряла мизинцем глаз.

– Хочешь спать?

– Да, недосыпание. Трудные дни, но все в порядке. Не обращай внимания, – сказала она. – Извини за прошлый раз, у меня возникло срочное дело. Причем стало известно только утром, и я уже ничего не могла поделать. Хотела позвонить в тот ресторан, но оказалось, что даже не помню его название. Твоего номера я тоже не знаю. Ты долго ждал?

– Не переживай. У меня избыток свободного времени.

– Так уж избыток?

– Даже частички хватит тебе выспаться.

Опершись щекой на ладонь, Мидори широко улыбнулась:

– А ты – добрый.

– Вовсе не добрый, просто у меня много свободного времени. Кстати, в тот день я звонил тебе домой, и кто-то из твоих домашних сказал, что ты в больнице. Что-нибудь случилось?

– Звонил домой? – Над ее бровями пробежали морщинки. – Откуда ты знаешь мой номер?

– Все очень просто: посмотрел в учебном отделе. Это не запрещается.

– А-а, – кивнула она и принялась теревать браслет. – Я не догадалась. Выходит, я так же могла узнать и твой? А про больницу расскажу как-нибудь потом. Сейчас не хочется. Прости.

– Ничего страшного. Такое ощущение, будто спросил что-то лишнее.

– Ерунда. Просто я сейчас немного устала. Как вымокшая под ливнем обезьяна.

– Может, тебе лучше вернуться домой и поспать?

– Не сейчас. Давай немного прогуляемся.

Мы зашагали от станции Йоцуя и через некоторое время оказались перед школой Мидори. Проходя мимо станции, я невольно вспомнил бесконечные прогулки с Наоко. Если разобраться, все началось именно с этого места. Я подумал: если бы мы не встретились с нею в тот майский день в электричке Центральной линии, моя жизнь сложилась бы совсем иначе. И сразу же в голове пронеслась другая мысль. Даже если бы не встретились тогда, рано или поздно это бы произошло. Видимо, встретились, потому что должно было произойти. Если б даже разминулись в электричке, повстречались бы где-нибудь в другом месте. Мысль, конечно, нелепая, но я не мог от нее отвязаться.

Мы с Мидори сели на скамейку и стали разглядывать ее бывшую школу. Здание оплетал плющ, на карнизах отдыхали голуби. Внушительное строение. Во дворе

рос огромный дуб, и откуда-то сбоку от него в небо поднималась струйка белесого дыма. В теплых лучах почти летнего солнца этот дым казался вдвойне прозрачным.

– Ватанабэ, знаешь, что это за дым?

– Нет.

– Это горят женские прокладки.

– Да ну? – А что еще скажешь в такой ситуации?

– Прокладки, тампоны и тому подобное, – улыбнулась Мидори. – Все выбрасывают в мусорное ведро в туалете. Школа-то женская. А дед-уборщик их собирает и сжигает в печи. Вот от них и дым.

– От одной мысли жуть берет.

– Я тоже содрогалась, когда на уроках видела этот дым. С ума сойти. Наша школа – средняя и старшая вместе. В общей сложности, в ней около тысячи девчонок. Допустим, у некоторых менструация еще не началась. Но пятая часть от девятисот... Примерно сто восемьдесят человек. Выходит, ежедневно в мусорку выбрасываются сто восемьдесят прокладок.

– Получается, так. Хотя, я не совсем понимаю всю эту арифметику.

– Главное тут – много. Целых сто восемьдесят человек. Интересно, каково человеку все это собирать и сжигать?

– Даже не представляю, – сказал я. Да и откуда мне такое знать? И мы посидели еще, наблюдая за дымом.

– По правде говоря, я не хотела идти в ту школу. – Мидори еле заметно кивнула. – Меня вполне устраивала государственная. Ну, то есть, обычная школа, в которой учатся обычные ученики. Юность хотелось провести приятно и неторопливо. Да только отец настоял. Сам знаешь: если кто-нибудь заканчивает начальную школу с хорошими оценками, его определяют в престижную школу.

Вот и меня определили. Шесть лет проучилась, но так и не привыкла. Только и думала – скорей бы отсюда выйти, скорей бы. И так – все шесть лет. Кстати, за все время у меня не было ни единого пропуска или опоздания. Даже грамоту за это вручили. Настолько я не любила школу. Понимаешь, почему?

– Нет.

– Я ее ненавидела до смерти, поэтому ни разу не прогуляла. Все время думала: неужели уступлю? Поддашься один раз и... конец. Боялась, что потом уже себя не удержу. Ползла на занятия даже с температурой под сорок. Учителя спрашивали: «Эй, Кобаяси, ты не заболела?» «Нет, все в порядке», – врала я и держалась из последних сил. Вот так, за посещаемость без единого пропуска и опоздания получила грамоту и в подарок – французский словарь. Поэтому и в институте начала учить немецкий. Думаешь, я хотела быть хоть в чем-то благодарной той школе? Ни за что в жизни.

– Почему ты ее так ненавидела?

– А тебе что, в школе нравилось?

– Ни то, ни другое. Я ходил в обычную муниципальную школу и особо не обращал внимания.

– В той школе, – Мидори потеряла глаз мизинцем, – учились отпрыски элиты. Около тысячи таких утонченных примерных девиц. В общем, дочери толстосумов. Иных там не держали. Суди сам: учеба дорогая, регулярно собирают пожертвования, если едут на экскурсию – непременно полностью снимают дорогую традиционную гостиницу с ужином на лакированной посуде, раз в год изучают застольные манеры в ресторане «Оокура»[20 - «Оокура» – сеть престижных гостиниц в Японии и некоторых странах Тихоокеанского региона.]. Одним словом, высокий уровень. Кстати, знаешь... из ста шестидесяти учениц только я жила в районе Тосима. Один раз специально проверила классный журнал. Хотела узнать, кто где живет. Круто: Самбаммачи в Чиёда, Мотоадзабу в Минато, Дэнъэнчёфу в Оота, Сэйдзё в Сэтагая[21 - Престижные кварталы частного сектора в районах Большого Токио.] и дальше по списку – в том же духе. Только одна жила в префектуре Чiba – в городе Касива. С ней я и подружилась. Хорошая девчонка. Приглашала к себе в гости. Извинялась, что далеко ехать. Я поехала – и чуть дара речи не лишилась. Чтобы обойти все их

поместье, потребовалось минут пятнадцать. Огромный двор, а посередине две собаки размером с малолитражку грызут шматы говядины. Так у этой девочки в классе развился комплекс неполноценности, что живет в Чибе. А если она опаздывала, ее подвозили к школе на «мерседесе». Причем, с водителем, как в «Зеленом шершне» – в фуражке и белых перчатках. А ей при этом стыдно. Уму непостижимо. Нет, ну ты представляешь?

Я кивнул.

– Специально проверила, что в Кита-Ооцука района Тосима из всей школы жила одна я. К тому же, в графе «место работы родителей» значилось: «управление книжным магазином». Как белая ворона. Говорили: «Хорошо тебе – можешь сколько угодно книжки читать». Чего смеяться? Все представляют огромный магазин, вроде «Кинокунии»[22 - «Кинокуния» – крупнейший книжный магазин Токио.]. Они при словах «книжный магазин» ничего мельче себе представить не могут. На самом деле, все намного ужасней. «Книжный магазин Кобаяси». Ничтожный книжный магазин Кобаяси. Дверь открывается с грохотом, перед глазами – разложенные в ряд журналы. Самый ходовой товар – женские. С заклеенной вставкой «Новая техника секса и иллюстрации сорока восьми поз». Весьма популярно у соседских домохозяек, которые покупают журнал, внимательно изучают его за кухонным столом, а когда вернется муж, пробуют эти самые сорок восемь поз. И кто знает, что у них при этом в голове. Еще манга. Тоже хорошо продается. Журналы «Санди», «Джамп». Конечно, еженедельники. В общем, сплошные журналы. Есть немного художественной литературы, но это так – для ассортимента. Потому что хорошо расходятся одни детективы, исторические романы да женское чтиво. Еще справочная литература. Например, «Правила игры в го», «Разведение бонсай», «Особенности речи на свадьбе», «Что необходимо знать о половой жизни», «Как быстро бросить курить» и прочая дребедень. Мы торгуем даже канцтоварами: рядом с кассой разложены тетради, ручки и карандаши. И все. Ни «Войны и мира», ни «Опоздавшей молодежи» Кэндзабуро Оэ, ни «Над пропастью во ржи». Вот такой он – «Книжный магазин Кобаяси». Чему здесь можно завидовать? Ты, например, завидуешь?

– Я его себе представил.

– Так и живем. Все соседи покупают у нас, мы доставляем на дом, старые клиенты от нас не уходят. Так что на жизнь семье из четырех человек хватает. Долгов нет. Обе дочери учатся в институтах. Но не более того. Ни на что эдакое в семье возможности нет. Поэтому не следовало отдавать меня в такую школу.

Там только чувствуешь себя ущербной. Отец постоянно бурчит, когда требуют очередные взносы, меня саму дрожь пробирает, когда на очередной экскурсии иду со всеми на обед в дорогой ресторан и думаю, хватит ли денег. Не жизнь, а сплошные потемки. Твои родители, наверное, богатые?

– Мои? Простые служащие. Не богатые и не бедные. Думаю, учить меня в частном институте в Токио им тяжело, но я – единственный ребенок, так что не проблема. Правда, на жизнь присылают немного, поэтому я подрабатываю. Словом, обычная семья. Есть маленький дом, «королла».

– А где подрабатываешь?

– Три раза в неделю в музыкальном магазине на Синдзюку. Работа – не бей лежащего. Сиди себе, да присматривай за товаром.

– А я подумала, что у тебя денег навалом. Просто у тебя такой вид.

– Ну, от нехватки денег я, в общем-то, не страдаю. Но их при этом не так уж много. Как и у многих в этом мире.

– В моей школе почти все были из богатеньких, – сказала Мидори, положив руки на колени ладонями вверх. – И в этом – главная проблема.

– Ну тебе еще предстоит насмотреться на иной мир.

– Как ты думаешь, в чем главное преимущество богачей?

– Не знаю.

– Они могут легко говорить: «Нет денег». Например, я предлагаю какой-нибудь однокласснице что-нибудь сделать, а она отвечает: «Не могу. У меня сейчас нет денег». Случись наоборот – и я не могу сказать то же самое. Если я скажу, что у меня нет денег, значит, их у меня действительно нет. Как это ни прискорбно. То же самое, если красивая девчонка скажет: «Я сегодня плохо выгляжу, поэтому никуда не пойду». Попробуй то же самое сказать дурнушка – подымут на смех. Вот таким был мой мир. Шесть лет до прошлого года.

– Скоро забудется.

– Скорей бы. Знаешь, я поступила в институт и вздохнула с облегчением. Здесь много простых людей.

Мидори еле заметно улыбнулась и потрепала рукой свой ежик.

– А ты где-нибудь подрабатываешь?

– Да. Пишу комментарии к картам. Когда покупаешь карты, в комплекте идет приложение: описание города, населения, туристических мест. Здесь есть такой-то пешеходный маршрут, об этом месте ходят такие-то легенды, а там цветут такие цветы, поют такие птицы. Моя работа – писать эти комментарии. Раз плюнуть. Стоит сходить в библиотеку Хибия[23 - Библиотека Хибия – одна из старейших и крупнейших токийских библиотек. Расположена возле одноименного парка поблизости от Императорского дворца.], посидеть денек над книгами – и один комментарий за день. Главное – соблюдать некоторые тонкости, и работы будет сколько угодно.

– Тонкости? Какие тут могут быть тонкости?

– Короче, вкраплять в текст то, чего не напишет никто другой. Тогда редактор из картографической фирмы подумает, что ты умеешь писать хорошо, проникнется и будет подбрасывать заказы постоянно. Впрочем, ничего особенного и не требуется, достаточно мелочи. Например: «Для строительства этой плотины пришлось затопить целую деревню, но перелетные птицы не забыли о ней, и каждый год можно видеть, как они кружат над озером». Добавь такой эпизод – и все будут счастливы. Суди сам: и живописно, и эмоционально. Никто из других девчонок до этого не додумывается. Почти. Вот я и зарабатываю прилично. Комментирую.

– Хорошо, что ты замечаешь такие эпизоды.

– Да. – Мидори задумчиво склонила голову. – Захочешь заметить – так или иначе заметишь. А если не получится, достаточно писать посредственно.

– Вот как?

– «Пи-ис»[24 - От англ. «peace» – «мир», стандартного приветствия молодежного «лета любви» конца 60-х годов XX века.].

Она хотела узнать, как мне живется в общежитии, и я рассказал о подъеме флага, об утренней гимнастике Штурмовика. Мидори тоже покатывалась со смеху, слушая о его выходках. Казалось, он просто рожден веселить людей всего мира. Истории мои ей понравились настолько, что она захотела непременно увидеть общагу своими глазами.

– Смотри не смотри, а ничего интересного там нет, – ответил я. – Несколько сотен студентов выпивают и дрожат в своих загаженных комнатах.

– Ты тоже так делаешь?

– Так все делают, – пояснил я. – Это естественно, как месячные у женщин: мужчины мастурбируют. Причем, все до единого.

– Даже те, у кого есть подружки? Ну то есть, партнерши?

– Проблема не в этом. Один мой сосед из университета Кэйо ублажает себя перед тем, как идти на свидание. Говорит, успокаивает.

– Мне такое трудно понять – я училась в женской школе.

– Да, об этом не пишут в приложениях к женским журналам.

– Абсолютно, – улыбнулась Мидори. – Кстати, что ты делаешь в воскресенье? Есть какие-нибудь планы?

– У меня все воскресенья свободны. Работа начинается в шесть вечера.

– Если хочешь, приезжай ко мне. В «Книжный магазин Кобаяси». Сам он закрыт, а я должна сидеть дома – могут позвонить по одному важному делу. Идет? Только не обедай. Я что-нибудь приготовлю.

– Спасибо.

Мидори вырвала из тетради листок, начертила подробную схему и на месте своего дома поставила красной ручкой жирный крест.

– Даже не захочешь – найдешь. По большой вывеске. Приходи к двенадцати. Обед будет готов.

Я поблагодарил Мидори и положил карту в карман: в два у меня начиналась пара по немецкому. У Мидори тоже нашлись какие-то дела, и она пошла на станцию Йоцуя.

В воскресенье утром я проснулся около девяти, побрился, постирал вещи и вывесил их сушиться на крышу. Погода стояла прекрасная. Чувствовалось приближение осени. Во дворе стайками кружили красные стрекозы, за ними гонялись детишки с сачками. Ни дуновения – национальный флаг понуро свисал с флагштока. Я надел тщательно выглаженную рубашку и двинулся к ближайшей станции. Студгородок в воскресенье казался вымершим: на улице – пустынно, почти во всех магазинах опущены жалюзи. Городской шум слышался четче обычного. Лишь постукивала деревянными колодками сабо переходившая дорогу девушка, да четыре-пять мальчуганов у стены железнодорожного депо сбивали камнями расставленные в ряд консервные банки. Один цветочный магазин оказался открытым, и я купил несколько нарциссов. Нарциссы осенью – конечно, странно покажется, но я с детства любил эти цветы.

В электричке в это воскресное утро оказалось всего три старушки. Едва я вошел в вагон, они по очереди уставились то на мое лицо, то на букет нарциссов у меня в руках. Одна улыбнулась мне, и я тоже ответил ей улыбкой. Затем сел на место в последнем ряду и принялся разглядывать проплывавшую за окном вереницу старых домов. Электричка бежала, едва не касаясь их карнизов. На одном подоконнике выстроился в ряд десятков горшков с помидорами, а рядом на солнцепеке нежилась большая черная кошка. Во дворе дома детишки пускали мыльные пузыри. Откуда-то раздавалась песня Исиды Аюми[25 - Исида Аюми – японская актриса, ставшая популярной благодаря своему хиту «Bluelight Yokohama»]. И даже доносился запах карри. Электричка словно пронизывала тесные кварталы города. На одной станции в вагон село несколько человек, но три старушки не переставали болтать.

Я вышел недалеко от станции Ооцука, и зашагал по незнакомому проспекту по карте Мидори. Почти все магазины по пути, казалось, от процветания были далеки. Темные развалюхи, не более того. Попадались вывески с изрядно выцветшими надписями. Я понял, что эти кварталы уцелели от бомбежек во время войны, и даже улицы остались прежними. Естественно, встречались и перестроенные дома, а почти во всех остальных в глаза бросались отреставрированные заплатки и надстройки, однако большинство домов от этого выглядели еще более убого.

Из этих кварталов многие – недовольные автомобильными пробками, грязным воздухом, шумом и высокой квартплатой – перебирались в пригород. Такое ощущение, будто здесь остались лишь дешевые съемные квартиры, дома для служащих, неспособные переехать лавки или упрямы, словно вросшие в эту землю. От выхлопных газов все было туманно-грязным, будто в дымке.

Пройдя за десять минут по всем отмеченным на карте дорогам, я свернул около бензоколонки направо, и оказался в маленьком торговом ряду. В его середине издалека виднелась вывеска «Книжный магазин Кобаяси». Не большая, но и не меньше, чем я представлял со слов Мидори. Обычный книжный магазин обычного квартала. Примерно такой, куда я в детстве бегал покупать долгожданные детские журналы. Я остановился перед «Книжным магазином Кобаяси», и меня охватила ностальгия. Такой книжный магазин есть в любом городе.

Жалюзи оказались плотно закрыты, и на них было написано: «Еженедельник “Бунсюн” выходит по четвергам». До полудня еще оставалось минут пятнадцать, но прогуливаться с букетом нарциссов и убивать время не хотелось. Нажав кнопку звонка сбоку, я отошел на два-три шага назад. Прошло секунд пятнадцать. Никто не отвечал. Я колебался, позвонить еще раз или нет, и в этот момент сверху гроыхнуло, распахиваясь, окно. Я поднял голову – из окна высунулась и замахала мне рукой Мидори.

– Открой жалюзи и входи, – крикнула она.

– Я раньше времени. Ничего?

– Нормально. Поднимайся. У меня сейчас руки заняты. – Окно с таким же грохотом закрылось.

Я со скрежетом приподнял жалюзи где-то на метр, пригнувшись, вошел и опустил их за собой. В магазине стояла кромешная тьма. Спотыкаясь о стопки нераспроданных журналов на полу и всякий раз едва не шлепаясь, я пробрался вглубь, на ощупь разулся и шагнул повыше[26 - В традиционном японском доме в прихожей имеется порожек на одну ступень ниже уровня пола.]. Дом был окутан мраком. Место, в котором я оказался, было приспособлено под простенькую приемную, по стенам стояли диваны. Небольшая комната, в окно сочился тусклый свет, как в каком-нибудь старом польском фильме. По левую руку открывалось что-то похожее на склад, виднелась дверь в туалет. По правую – крутая лестница наверх. Я поднялся на второй этаж и несколько успокоился: здесь было значительно светлее.

– Проходи сюда, – раздался из ниоткуда голос Мидори. Комната справа от лестницы напоминала столовую, там в глубине располагалась кухня. Сам по себе дом был старым, но кухню, казалось, недавно перестроили: мойка, краны и посудные полки сверкали новизной. Мидори варила обед: кастрюля побулькивала, пахло жареной рыбой.

– В холодильнике есть пиво. Глотни пока. – Мидори бросила на меня беглый взгляд.

Я достал пиво и сел за стол. Пиво оказалось очень холодным, будто простояло в холодильнике с полгода. На столе – маленькая белая пепельница и баночка с соевым соусом, лежали газеты. Так же – блокнот с каким-то номером телефона и столбиками цифр: кто-то подсчитывал расходы на покупки.

– Минут через десять будет готово. Подожди там. Ладно?

– Ладно.

– Хорошо, если как следует проголодаешься. Еды много.

Я потягивал пиво и следил за Мидори. Быстро и проворно она готовила одновременно примерно четыре блюда. Пробовала суп, что-то быстро резала, что-то доставала из холодильника и добавляла в блюдо, мгновенно мыла освободившуюся кастрюлю. Со спины Мидори напомнила мне одного индийского барабанщика: там ударил тарелками, здесь постучал по доске, потряс костями буйвола. Я с восхищением смотрел на нее: ни одного лишнего движения, чистая

гармония.

– Чем-нибудь помочь? – поинтересовался я.

– Нет. Я привыкла все делать сама. – Мидори улыбнулась мимоходом. На ней были синие джинсы и темно-синяя майка. На спине крупно отпечатан знак фирмы «Эппл Рекордс» – яблоко. Я поразился, какая она стройная. Талия будто пропустила какую-то стадию развития и не успела заостреться. Поэтому Мидори выглядела намного изящнее обычных девчонок в приталенных джинсах. Яркий свет из окошка над мойкой подчеркивал ее гибкий силуэт.

– Не стоило готовить такой шикарный обед, – сказал я.

– Нет в нем ничего шикарного, – ответила она, не оглядываясь. – Вчера была так занята, что не успела толком ничего купить. Всё на скорую руку – из того, что осталось в холодильнике. Seriously. К тому же, гостеприимство в этом доме принято. Не знаю, почему, но в нашей семье любят гостей. Как полагается. Прямо какая-то слабость. В общем-то, мы не такие уж любезные, и делаем это не в надежде на какую-то взаимность. Просто раз приходят гости, их нужно принять на уровне. Причем, такое чувство у нас всех, хорошо это или нет. Хоть отец почти не пьет, в доме полно алкоголя. Как думаешь, для чего? Для гостей. Поэтому пей пиво, не стесняйся.

– Спасибо.

Я вдруг вспомнил, что забыл в прихожей нарциссы. Положил их на пол, когда разулся, да так и забыл. Я спустился, поднял десять блевших в сумраке нарциссов и вернулся обратно. Мидори сняла с буфета высокий стакан и поставила в него цветы.

– Я их очень люблю, – сказала она. – Как-то на школьном смотре даже пела песню «Семь нарциссов»[27 - Популярная песня в стиле фолк группы «Brothers Four» (1957 г.).]. Знаешь?

– Конечно, знаю.

– Когда-то я играла в фольклорном ансамбле. На гитаре.

И, напевая «Семь нарциссов», она принялась раскладывать еду по тарелкам.

Блюда Мидори превзошли все мои ожидания, настолько все оказалось вкусно. Ставрида под маринадом, поджаристый омлет, соленая макрель по-киотосски, тушеные баклажаны, зеленый суп, рис с грибами, и горка мелко настроганной и сдобренной перцем маринованной редьки. У всех блюд – тонкий кансайский вкус[28 - Кухня района Кансай (Киото-Осака-Кобэ), где родился сам Харуки Мураками, отличается легким сладковатым привкусом, не утяжеленным обилием соевого соуса.].

– Прямо объедение, – восторженно сказал я.

– Ватанабэ, скажи честно – не ожидал, что я так приготовлю? По моему виду?

– В общем-то, нет, – признался я.

– Ты же сам из Кансая. И я решила, что тебе понравится?

– Ты специально готовила для меня по-кансайски?

– Вот еще. Чтобы я что-то специально... Просто у нас в семье любят эту кухню.

– У тебя, выходит, родители из Кансая?

– Нет, отец родом отсюда. Мать – из Фукусимы[29 - Фукусима – префектура на северо-востоке Японии.]. В Кансае – ни одного родственника. Вся наша семья с востока.

– Постой, откуда тогда ты знаешь кансайскую кухню? Где-нибудь училась?

– Долго рассказывать, – ответила она, накладывая себе омлет. – Моя мать терпеть не могла домашнего хозяйства и нормальной еды никогда не готовила. К тому же у нас торговля. То говорит, что некогда, и покупает, что под руку в магазине попадется, то принесет из соседней мясной лавки одни котлеты. И так постоянно. Я с детства все это сильно не любила, но поделаться ничем не могла. Например, сделают карри, и едим его потом три дня. И вот лет в пятнадцать я

решила приготовить что-нибудь вкусное сама. Поехала в «Кинокунию» на Синдзюку и купила лучшую поваренную книгу. Вернулась домой, проштудировала ее о корки до корки: как выбирать доску, точить нож, разделывать рыбу, резать стружку из тунца. Ну, то есть, все, что в ней было. Автор оказался из Кансая – вот так я и кухню тамошнюю изучила.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Все в порядке, спасибо. Просто мне стало чуточку одиноко (англ.). – Здесь и далее прим. перев.

2

Со мной тоже иногда такое бывает. Я вас понимаю (англ.).

3

Счастливого пути! До свидания! (англ., нем.)

4

«Хэйбон панчи» – издававшийся до конца 70-х годов еженедельник, популярный среди молодежи.

5

Станции Центральной линии железнодорожной сети «Джапэн Рэйлроуд».

6

Район Токио, известный скоплением издательств и различных книжных магазинов.

7

Соба – лапша из гречишной муки.

8

Предпоследний школьный класс в Японии. Возраст учеников – 16 лет.

9

Популярная во второй половине 60-х годов XX века малолитражка «Хонды».

10

Кадзуми Такахаси (1931–1971) – японский политический писатель и критик, участник студенческого движения.

11

«Лав-отель» (от англ. «гостиница любви») – гарантирующая конфиденциальность специализированная гостиница, где номер снимается на 1–2 часа или на всю ночь.

12

По сей день существующая в Японии традиция запирает ночью в определенный час ворота или двери.

13

Самой высокой является «А». При оценке «D» получить зачет проблематично. В вузах Японии обязательные зачеты можно не выдержать с первого раза и сдавать в последующие семестры.

14

Осаму Дадзаи (1909–1948) – японский писатель-декадент, отразивший настроения отчаяния в послевоенной Японии.

15

Префектура, граничащая с западной частью Токийской метрополии.

16

Синдзюку и Икэбукуро – кварталы, прилегающие к двум одноименным крупным узловым станциям на кольцевой линии «Яманотэ» железнодорожной сети «Джапэн Рэйлроуд» в Токио.

17

Мидори – по-японски «зеленый, зелень».

18

Момо – по-японски «персик», розовый цвет.

19

Бэнто – традиционный комплексный обед в коробке.

20

«Оокура» – сеть престижных гостиниц в Японии и некоторых странах Тихоокеанского региона.

21

Престижные кварталы частного сектора в районах Большого Токио.

22

«Кинокуния» – крупнейший книжный магазин Токио.

23

Библиотека Хибия – одна из старейших и крупнейших токийских библиотек. Расположена возле одноименного парка поблизости от Императорского дворца.

24

От англ. «peace» – «мир», стандартного приветствия молодежного «лета любви» конца 60-х годов XX века.

25

Исида Аюми – японская актриса, ставшая популярной благодаря своему хиту «Bluelight Yokohama».

26

В традиционном японском доме в прихожей имеется порожек на одну ступень ниже уровня пола.

27

Популярная песня в стиле фолк группы «Brothers Four» (1957 г.).

28

Кухня района Кансай (Киото-Осака-Кобэ), где родился сам Харуки Мураками, отличается легким сладковатым привкусом, не утяжеленным обилием соевого соуса.

29

Фукусима – префектура на северо-востоке Японии.

Купить: <https://telnovel.com/ru/haruki-murakami/norvezhskiy-les>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)